

Линор Горалик, Станислав Львовский

ПОЛОВИНА НЕБА

*America you don't really want to go to war.
America it's them bad Russians.
Them Russians them Russians and them Chinamen.
And them Russians.*

Allen Cinsberg

*“Ferry me across the water,
Do, boatman, do.”
“If you’ve a penny in your purse
I’ll ferry you.”*

Christina Georgina Rossetti

John F. Kennedy International Airport, New York

Небо, – я всё думал, что же у них тут с небом. Вот уж, казалось бы, что не должно отличаться. Небо, воздух, *there's nothing between us, but the air we breathe*. Но это же нас и соединяет, – от губ до губ, от гортани до гортани, от крови до крови. Небо прозрачное, резкое, над Москвой даже и представить себе такого нельзя. Нельзя, я знаю, я его всегда фотографировал, Смена-8М (советский предок нынешних мыльниц), потом старый ФЭД-4 с желто-зелёным фильтром, потом была ГДРовская Practica, Олимпусы, Никоны, Кэноны, бог весть что, поляризационные стёкла, подъём в пять утра, – только бы облака вышли порезче, схватить свет за шкирку и утащить в тёмную комнату с красным фонарём. Небо над Берлином, небо над Триром, небо над всей Испанией, небо над Йоханнесбургом, небо над Нью-Йорком. Нужно было о чем-нибудь думать, я думал о небе. У меня получалось.

Прозрачное, резкое, даже сквозь купол не то из стекла, не то из плексигласа, – я погасил сигарету, бросил её на чисто выметенные плиты, – укоризненный взгляд охранника, – просочился с чемоданом через тяжёлую вертушку в первый терминал. Чёрт меня догадал лететь Air France, говорил же Никита, не пей из лужи. И вот – Flight 203 New-York/JFK – Moscow/SWO is delayed due to technical reasons. Suggested boarding time is 3 p.m. We are sorry for the inconvenience. Ещё два часа в предбаннике, единственный киоск с непригодной едой на нижнем ярусе и, слава богу, хоть кресла удобные. Ты всегда думал: вот происходит то, что происходит – как у человека хватает сил на это, на мелкие детали, на то, чтобы подумать: «Хотя бы кресла удобные», подумать о еде. О небе. Думать. Есть. Сдавать чемодан. Сидеть. Ждать. Два часа назад я не мог ничего. Так, видимо, и проявляет себя ангел-хранитель – этими передышками, когда вдруг отпускает, и можешь думать. Смотреть по сторонам.

Пожилая дама кричит на тоненькую мулатку в форме авиакомпании – жёлтый и чёрный, Lufthansa? – *Ze sorvice iz very bed!* Сильный акцент, что-то я никак не могу сообразить какой. А девочка ведь даже послать клиента не может, как жалко её. Накричавшись, дама отходит к своему, видимо, мужу, они говорят между собой, сначала на английском, всё таком же плохом, потом на языке, который я, фотограф, *повидавший свет, пересекавший на осле экватор*, опознать не могу. Вот ведь. Старушка как-то быстро переходит в другой регистр, в нежный, что ли, ведёт мужа к креслу, усаживает и семенит вниз, – за едой, видимо. Я сажусь рядом с ним и достаю из сумки последнего Бэнкса, которого давно бы уже пора перестать читать, ещё после второго романа, но привычка, привычка. Я смотрю в книгу, но там не слова, а буквы.

– Не посторожите мой багаж, а то я хочу выйти покурить?

Джентльмен поворачивается ко мне, говорит медленно:

– Конечно. Я бы с радостью. Но вы должны понимать, что это запрещено.

Я вытаскиваю чемодан за собой, сумка с техникой болтается на плече, тяжёлая, неудобно. Снаружи постепенно становится жарко.

Возвращаюсь.

– Вы простите меня, – говорит он с тем же акцентом, впрочем, не таким сильным как у жены, – это в последнее время такие правила, меры безопасности, вы же понимаете.

Я сейчас все понимаю про меры безопасности, это да.

– Конечно, – отвечаю я, – а скажите, что это за язык, на котором вы говорили?

Он смотрит на меня, улыбается:

– Румынский.

– О, так вы из Румынии?

– Да, но уже десять лет живём в Штатах.

Он делает комплименты моему английскому, я оправдываюсь, что говорю куда лучше, чем понимаю, а тут свои неудобства – при хорошем произношении никто не считает нужным отвечать помедленнее и поразборчивее. Он явно хочет говорить о российской политике. А я не хочу. На огромном экране прямо перед нами беззвучно мелькают какие-то экзотические страны, с трудом опознаваемые, оператор делает всё, чтобы в кадр не попали жалобные камбоджийские дети, арабы в пыли на улицах, где козы жуют обрывки газет, – витрина, бесконечный танец, водопад, бабочки, Майорка, dolce far niente европейских кафе. Потом он начинает спрашивать невпопад, я невпопад отвечаю и разговор двух бывших жителей соцлагеря как-то сам по себе исчерпывается, мелеет, я сейчас плохой собеседник, хотя ангел-хранитель и утирает мне пот со лба. Приходит его жена с бутербродами, я пользуюсь моментом и окончательно погружаюсь в мелькающие картинки, девочка-мулатка из-за стойки Люфтганзы, да, глядит на моих собеседников с ненавистью, издалека.

Объявляют регистрацию моего двести третьего, два часа прошло. Может, они прошли не везде, может, только тут? Я иду к стойке.

– Bonjour mademoiselle.

– Parlez– vous Français??

– Oui, oui, je parle Français comme une vache espagnole.

Смеется. Я молодец. Держусь, шучу, все дела.

– May I see your passport, please?

Я прошу место у окна, но она извиняющимся тоном сообщает мне, что остались только места у прохода. По большому счету мне наплевать.

– Next, please! – орёт на весь зал охранник. Я вынимаю из карманов московские ключи; кошелёк, из которого всё время норовят высыпаться мелкие даймы, никели и пенни, четвертаки я рассовал по телефонам-автоматам – в Квинсе, на Манхэттене, в Oceanside, безо всякого результата; Wrigley's с каким-то вкусом, который только здесь, и я хотел привезти Андрею пару пачек... сигареты, фольга звенит, нельзя; затерявшаяся плёнка, CD-плеер. Снимаю ботинки, кладу их в тот же лоток, босиком прохожу сквозь рамку. Звенит. Полноватая негритянка водит по мне металлоискателем, да, пряжка ремня, а что это у вас тут в кармане ветровки? – Где? – Вот тут. – Ничего. Я выворачиваю карман. – Да нет, вот тут. – Ничего. Ох, простите, тут дырка в кармане, что-то попало. Я вытаскиваю ключи, два ключа. Она улыбается: внимательнее, сэр, внимательнее. – Да, спасибо, конечно. Обуваясь, рассовываю по карманам мелкие металлические предметы, сумка с аппаратурой, останавливаюсь. Значит, ключи. Вот этот, побольше – от входа, вот этот – от почтового ящика. Я засовываю их поглубже в один из многочисленных карманов куртки, куда обычно кладу крышку от объектива, и двигаюсь в сторону Duty Free. Литровой бутылки Red Label по идее должно хватить до Москвы, даже учитывая стыковку в Орли. Я бы купил две, на всякий случай, но нет, нельзя так, ангел мой, не подливай мне.

Расстегиваю сумку, в которой лежит, что лежало сегодня утром, то есть что попало, – в бессмысленном беспорядке. Заталкиваю бутылку между родным изданием и пособием по рисованию манга – и вижу его. Вернее, её: сбоку из сумки торчит рукоятка пистолета. Мы заглянули внутрь “Хассельблада”, который я таскаю с собой пять лет, еще с Будапешта. Мы заставили меня снять кроссовки, мы обнюхали меня металлоискателем, а пистолет нас не интересует, нет, нам плевать на ваш пистолет. Мало ли что у него на рукоятке шерифская звёздочка. Это я знаю про звёздочку. А они не знают про звёздочку, они просто не увидели его. Никто не заметит, – пропавшее письмо Шерлока Холмса,

лежащие на виду ружья Каролины Уотсон. Когда я положил его в сумку?– Посадочный талон, пожалуйста. – Да пожалуйста.

7 июля 1983

Над круглым столом, на террасе, висел абажур, склеенный Феликсом из бумажных стаканчиков. Когда по вечерам лампу зажигали, стаканчики просвечивали почему-то красноватым. Деньги на абажур, разумеется, были. Просто Феликс, невероятный работяга, архитектор по профессии, страшно любил мастерить такие штуки – по нынешним временам, которые он застал только краешком, быть бы ему обязательным персонажем всех глянцевого журналов, – он и правда был архитектором от бога, построил в Гудауте, в Абхазии кафе, прямо в стеклянную витрину которого входила с улицы бронзовая фигура в человеческий рост – невероятная смелость. Что осталось от того кафе после войны, во время которой воевавшие на стороне Абхазии чеченцы играли отрезанными головами грузин в футбол, а легионеры из «Мхедриони» жгли абхазов целыми сёлами?

Он всегда что-то мастерил, сам ремонтировал свою квартиру на Павелецкой, – высокие потолки, кухня, обитая деревом, зеркало в раме из собственноручно изготовленной чеканки. Для него я впервые, уже после того, как всё посыпалось, работал переводчиком. Он представлял какому-то американскому бизнесмену с авантюрной жилкой, любителю работать на emergency markets, проект дома отдыха на берегу Чёрного моря. Тот никак не мог понять, почему наличный и безналичный рубль стоят по-разному, а когда дело дошло до «государственного разрешения на право владения землёй», впал в такой ступор, что я понял: культурный шок – никакая не метафора.

Под абажуром размещался завтрак – нехитрый дачный завтрак: ливерная колбаса, растворимый кофе, сыр, хлеб, печенье, овсяная каша для детей – и больше ничего уже не размещалось, потому что завтрак закончился и пора было идти работать в огород, кормивший две семьи, – ну, не кормивший, подкармливавший: кабачками на зиму, огурцами, клубникой для детей, – то есть нас, – смородиной, какими-то нехитрыми дарами зоны рискованного земледелия, – летом собирать ягоды и варить варенье, зимой пить с этим вареньем чай. Работа была, по правде сказать, необременительная: прополоть что-нибудь, собрать черноплодку или крыжовник, убрать скошенную траву, да и поручали её детям, скорее, в воспитательных целях, – лето всё-таки, каникулы, большую часть дня мы с кухней (старше меня на четыре года) проводили за какими-то летними и приятными занятиями, даром что ближняя речка была ключевой и вода даже в самые жаркие дни была такой холодной, что подумать зябко.

Но вот в этот день как раз требовалось что-то незначительное всё-таки сделать – то ли помочь строить баню на дальнем конце участка, то ли собирать огурцы. Я задержался – было очень уж жарко, а каменный дом долго сохранял прохладу, выходить на жару не хотелось. Нужно было придумать, что ли, какую-то хорошую причину отложить дело – и я начал убирать со стола, медленно, по одному, переправляя предметы в холодильник шестидесятих годов выпуска: на дачу свозили то, чему уже не было места в московской квартире. Купили новый холодильник – отвезли старый на дачу. У этого была ручка, точно как у автомобилей тех лет, только расположенная в вертикальной плоскости, она удивительно приятно щёлкала, когда кто-нибудь открывал или закрывал дверцу. Чудовище, кажется, в какой-то момент сломалось окончательно и его предали, наконец, земле. Не помню. Я потом видел такой холодильник, – однажды, в толстенной книге American Ads: 50-s, которую подарила мне любимая на Новый Год.

Я почти закончил, – оставалось только молоко, которое покупали у соседки, державшей корову, – когда я возвращался домой с трёхлитровой стеклянной банкой, она была ещё тёплой, примерно температуры коровы. Мы с кухней заливали этим молоком клубнику, – и это было так вкусно, как никогда и ничего уже не было вкусно после, – хотя нет, не

знаю, я не пробовал заливать клубнику молоком из пластмассовой канистры, купленным в Trader Joe's, в окрестностях Oceanside двадцатью годами позже, – у него был точно такой же вкус, вкус парного молока из дачной банки, сушившейся на заборе.

Феликс не вошёл, а как-то возник в дверях и упал на стол, оказавшись у самого VEF-204, рижского приёмника, – трясующимися руками начал крутить ручку настройки.

– Что такое?

– Сирена оповещения.

– Что?

– Сирена оповещения, война, я слышал сирену оповещения. Война началась.

Я слышу только шуршание на коротких волнах, шуршание, прибор, океан, солнце застыло в зените над дачным посёлком, ветерок относит к лесу пепел костра на соседнем участке, между еловых ветвей замерла рыжая белка, поблёскивает крохотными чёрными шариками глаз. Похожая на небольшого бумажного журавлика капустница присела на лист, крылья не двигаются, застыли под нестерпимо ярким июльским солнцем. Громыхание раздолбанного автобуса на шоссе впечатывается в вой глушилки, ветерок тащит превратившуюся в пепел, в чёрные невесомые ошметки вчерашнюю газету по траве, к лесу. От солнечного сплетения вверх ползёт клубящаяся темнота, разъедающая лёгкие, – альвеолы лопаются, потом сердце, вот-вот дойдёт до гортани, вниз опускается холодный расплавленный металл – тяжестью внизу живота, длинная игла, входящая в селезёнку, ёкающая печень. Огонёк в костре медленно, с трудом отклоняется вправо, потом влево, ручка настройки, выкрученная в край шкалы, утыкается в эстрадную песенку, соловей российский, славный птах. Бабочка вспархивает с капустного листа, белка в одно движение оказывается вне досягаемости соседского кота, автобус тормозит у остановки. Я медленно открываю глаза, – в небе висит огромный белоснежный гриб, кучевое облако, Stimulus. Феликс смущён.

Вечером, в конце долгого разговора о ракетах средней дальности – «Подлётное время – семь минут! – восклицает отец, – Семь минут!» – Феликс спрашивает:

– Что им от нас нужно, ну что им нужно от нас??

– Чтобы нас не было, – говорит мама. – Им нужно, чтобы нас не было.

*

Заявление генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного совета СССР Ю. В. Андропова.

«На территории ФРГ, Великобритании и Италии начинается размещение американских ракет средней дальности. Появление на европейском континенте американских «Першиногов-2» становится свершившимся фактом. Опасность катастрофы возрастает.

Многие в Европе признают, что сегодня между НАТО и ОВД – примерное равенство в ядерных средствах средней дальности, а по ядерным зарядам – существенный перевес на стороне НАТО. Высшие руководители ОВД на заседании в Москве заявили, что не допустят военного превосходства блока НАТО над ОВД.

Следовательно,

1. СССР считает невозможным дальнейшее участие в переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе (Женева).

2. Отменяется мораторий на размещения средств средней дальности в Европе.

3. На территории ГДР и ЧССР начаты подготовительные работы по размещению оперативно-тактических ракет повышенной дальности.

4. Будут разворачиваться советские средства в океанских районах и морях. Будут приняты и другие меры направленные на обеспечение безопасности СССР и других стран социалистического содружества

Газета «Правда». 25.11.83.

ЖФК, взлётная полоса.

Ничего, что место у прохода, - у меня нет ноутбука, я не собираюсь работать, я не собираюсь читать, у меня другие планы. Пусть ходят – тем более, что это аэробус, не «Боинг»; карминовая обшивочка на креслах, салфетки на спинках раскрашены в цвета французского флага. У прохода. Если подумать (а я уже начинаю думать кое о чем), то это как раз очень удачно получилось. Слева – семья – белый папа, чёрная мама, шоколадный ребёнок - мальчик в джинсовом костюме, каникулы, наверное, Париж, первый раз в Европу. Справа, через проход – похожий на моржа огромный человек с усами – сказал бы: баварец, но боюсь ошибиться. “Herald Tribune”: новый законопроект об абортах, крушение туристического пароходика в Нью-Йорке, генетически изменённые продукты. “USA today”: Рамсфельд, вертолёт с восемью военнослужащими, who is mister Putin, again?, бейсбол, бейсбол, бейсбол, соккер, russian tycoon is... You fuckers – is that all?

... even if you are a frequent traveller, please... взлетайте уже, взлетайте. Идёт по салону, захлопывает дверки отделений для ручной клади, your seatbelts, please... All your electronic devices... cell phones... Мальчишка вертится, мама затягивает ему пояс безопасности, я встречаюсь с ней глазами. Нужно было попросить место у аварийного выхода, там можно вытянуть ноги, вставать легче, пространство манёвра больше. Наискосок вправо – две старушки, тихо переговариваются, вырливаем, разгоняемся, я выключаю фонарик над креслом и закрываю глаза, не дожидаясь пока кресла вздвигнутся. Шторка, отделяющая салон бизнес-класса, чуть отходит в сторону, видна рука, расслабленно держащая стаканчик с виски. Закладывает уши.

Москва, ул. Малая Дмитровка

— Это как считается, полусухое или полусладкое?

– Ну ты чего, полусладкое, конечно. Я тебе больше скажу. Это, кажется, единственное в мире натурально-полусладкое вино.

– А?

– Сахар в него не добавляют. Оно с самого начала такое.

Она пригубила бокал с Хванчкаррой, остановилась, как бы прислушиваясь к себе.

– Прекрасное, да, ты прав.

– Ну вот. Так, я тебя перебил. И чего?

– Мы там ходили с полчаса, зашли в русский магазин, потом чувствуем – пора завтракать. Очень уже пора. И заходим в более или менее первый попавшийся ресторан. Садимся. А рядом, на соседней веранде две тётки такие одесские только столы выносят. И одна другой говорит: «Вот Соня, вот. Ты только столы выносишь, а они уже к этому сволочу идут». Я начала смеяться, и никак не могла Мартину объяснить, над чем. Я сама Брайтон не люблю, я там до знакомства с ним не была никогда. А его просто нечеловечески прёт от этих рож, от обивки бархатной в ресторанах. Он просит объявления переводить и смеется. Для меня это уродство, ужас, а для него – просто этнический квартал, вроде Чайна-тауна. А он там как-то расслабляется. И страшно любит бычков в томате. Это мы в детстве даже не ели, там же глаза плавают! – а он ест, представь.

Мэри О’Брайен не может есть глаза в томате. Я тоже не могу, наверное. А Мартин О’Брайен может. Я понимаю, почему – потому что он никогда не был в Гастрономе на площади Индиры Ганди. И вообще никогда не был в гастрономе. И ни в каком другом магазине, где на полках только консервные банки с бычками, морской капустой и кукумарией, маринованной морской блошкой. Мартин был, судя по фотографиям, таким типичным ирландцем, что хоть в “Бандах Нью-Йорка” снимай. Даже на руках были веснушки, и на одной из фотографий он был в зелёной рубашке, – обычная история: любительская камера делает то, на что профессиональная не способна, сколько ни бейся. Зелёная рубашка каким-то невероятным образом срифмовалась с лежащей на соседнем столике игрушечной винтовкой. На этом месте я спросил Машу, поёт ли он ей песни про зелёные холмы своей Родины. Она тактично улыбнулась, я, видимо, оказался последним, кто за семь лет их с Мартином брака не отшутился на эту тему. С другой стороны, мне можно, я же специализируюсь на представителях малых народов в естественной среде обитания: двухэтажный дом в пригороде, happy ghosts в конце октября, флаги в июле, веночки на Рождество, Home Owners Association требует убирать украшения не позже, чем через две недели после окончания праздников. Вы можете посадить на backyard следующие растения по списку. Семь лет брака. Не представляю себе.

– Так и что про профессорскую позицию?

– Ну ничего, я попыталась ткнуться туда, сюда – это я просто не представляла себе с каким... как это сказать... гадюшником имею дело. Не знаю, как объяснить. Эта академическая среда, она так устроена...

– А чего тут объяснять? Она устроена как советское учреждение.

– Вот! Вот! Да. Точно. И точно так же надо со всеми спать и лизать всем задницы, и корпоративная культура, fuck. Это ещё хорошо, что я не правом занимаюсь и не историей. Там ко всему прочему если ты не молишься по вечерам на портрет Хомского – всё, гуляй. И, в общем, я пошла в частную компанию. Там не совсем то, чем я занималась в Университете, – ну не занимаются частные компании астрофизикой, убится, – но вполне как-то нормально. И это такое было облегчение поначалу – ты себе не представляешь. Мне бы этот нормированный рабочий день когда Лиза маленькой была. Но с другой стороны, это да, работа-дом, работа-дом, хорошо хоть, commuting удобный, если трафика нет – полчаса.

Мартин, между тем, ветеринар. Познакомились они, когда он усыплял её кошку, что-то у той было по женской части. И Маша никак не хотела её усыплять, плакала, потому что помнила, как это делают в Союзе, рассказал кто-то: их усыпляли не снотворным, а парализатором. То есть, у них останавливалось сердце, но они до последнего все понимали. И она это Мартину рассказала, но он ей объяснил, что нет, это будет снотворное, просто она заснёт, кошка, и будет спать. И вот, кошка заснула и проспала уже три дня из положенной ей вечности, а Маша с Мартином пошли на этот самый третий

день во французский ресторан, где он рассказал своей будущей жене про суринамскую жабу пипу. Поскольку ели они лягушачьи лапки, Маша попросила его никогда, никогда больше не рассказывать ей, чем еда занимается в свободное от выполнения прямых обязанностей время. Так что про коров и кур Маша не знает ни-че-го. Я потыкал вилкой в стейк из лосося. Не представляю, чем они занимаются в свободное время, нерестятся, видимо – а чем я занимаюсь в свободное время? А у меня нет свободного времени. И это тот самый лосось, который в нашем детстве назывался просто «красной рыбой», а видовой принадлежности не имел. Такая рыба с крючковатым носом, как на карикатурах в «Фелькишер беобахтер». Или с носом - это горбуша? Вот я до сих пор в них не разбираюсь. Есть ещё нерка и ещё кто-то такого же цвета, у которого бывают спинки и брюшки – в маринаде, со специями, в винном соусе, со специями, в собственном соку, по-гречески, по-французски, со специями, sushi quality, чёрта лысого, но никогда – в томате. Стейк был очень вкусный. И глаз у него не было.

— Мы взяли джип и поехали в пустыню...

Это мы уже в Cofelnn, через дорогу, сидим за столиком. Маша почему-то в полном восторге от того, что и маффины и брауни написаны русскими буквами, говорит мне, что это место – совершенно как Starbucks, но страньше. У меня Айриш кофе и маффин. А у неё сбитень, про который она помнила из юморески какого-то эстрадника, но никогда, ясное дело, не пробовала. Вот, попробовала. Сладкое очень, но пить можно.

– ...Идея была в том, чтобы забраться туда как можно глубже. Потому что Триполи – ну, арабский город, смешной, полковник везде висит. Они его не сказать, что не любят, а как-то им неловко, что он такой клоун. И да, реально, я выкидывал на границе из багажа все американские товары, потому что их нельзя туда ввозить, про камеру врал, что она русская, а латинские буквы – это на экспорт. А за спиной у меня рыдал Поль из голландской редакции, который за этот их мерзкий Genever душу готов продать, – а алкоголь – это вообще чуть ли не смертная казнь и надо выливать прямо в песочек свои запасы. А Поль, надо сказать, так пьёт, как в России и в деревнях не пьют. И вот мы едем по пустыне. Выясняется, что власть отца ливийского народа заканчивается в двух часах езды от Триполи, а дальше там только туареги и бензозаправки. Нефть течёт, в общем, почти сама, чуть не ручейками. На пятый день я начинаю чувствовать себя как в “Sheltering skies”, потому что, да, кроме неба и песка нет ничего. А на шестой день мы ломаемся. Но туареги оказываются не так себе просто, а с запчастями туареги. Мы им предлагаем деньги, а они нам всё время показывают что-то руками, длинное и круглое, кажется. Поль быстрее меня соображает, у него уже руки перестали трястись, как-то он слегка приободрился на пятый день. И вот он говорит, слушай, они хотят выпивку в обмен на железки. Я ему говорю: ты совсем умом тронулся – какой им выпивки? Они не знают, что это такое. Поль говорит, нет, подожди, всё они знают. И начинает им голландскими своими жестами объяснять, что нет, что мы и сами умираем и трубы горят и душа и вообще. А я говорю ему, да, они твою голландскую жестикуляцию последний раз видели двести лет назад, когда проклятый колонизатор – один! – приехал посмотреть, чем тут можно поживиться, но быстро понял, что нечем, и свалил. Ты им еще вот так покажи – и щёлкаю пальцем себя по горлу, как у нас делают. И тут они захлопотали, оживились и выносят нам два бурдюка какого-то говна. Несут мне, понятно, – я нюхаю – т-твою мать. Я не знаю, из чего они это гонят, но у меня такое ощущение, что из верблюжьей шерсти, ну нет других предположений, алкоголь не может так пахнуть. В общем, за эти помои мы заплатили раз в пять больше, чем за запчасти. И мало того, всю дорогу Поль болтался с этими бурдюками на заднем сиденье и орал голландские народные песни! Ну ладно, не народные. В основном он пел рекламный джингл прокладок Always. Но на голландском. – Oh, gosh!

О, господи. Вот, вот же оно – это разделяло нас больше, чем любые временные промежутки, чем восемь часовых поясов, чем разница в доходах. Oh, gosh. И ещё, может

быть, то, что она нигде не бывает кроме своего Бостона, а я бываю везде, кроме Бостона, потому что да, я очень хороший фотограф и National Geographic нанимает меня фотографировать много где. Но там, в Бостоне, слава богу, хватает своих. И вообще не очень понятно, что в Бостоне фотографировать. Китов в океане? Аспирантов MIT на водопое? Откуда мне знать.

15 ноября 1982 года

Наверное, это был первый раз, когда при мне плакал взрослый человек. Это вообще был такой день, когда при мне плакали взрослые, но началось с Нины Николаевны. «Блошиный домик», вот как это называлось, таких женщин больше, кажется, нет в природе, но иногда я все-таки вижу даму за шестьдесят с вытравленными перекисью, уложенными в сложную конструкцию волосами на макушке, я вспоминаю, что это называлось «блошиный домик», так вот, она уронила свой «блошиный домик» на стол и зарыдала в голос, и мы оцепенели. Вид плачущей учительницы для нас, – а нам было по десять лет, – означал, как любила говорить Элла, эйлатская моя двухнедельная любовь, – что «уламейну хашах алейну» – мир накрыл нас черной пеленой. Это длилось, по крайней мере, минуту – она рыдала, мы сидели. Потом ей все-таки удалось справиться с собой, и она впервые за два года произнесла при нас фразу с нормальной человеческой интонацией. Она сказала: «Дети, Леонид Ильич умер».

Мои родители, надо думать, помнили еще март 1953 года, рыдающих людей, медленно плывущую скорбную сажу малоразличимых пальто, огромные усатые портреты, крики задавленных толпой и страх, страх перед тем, что будет завтра – на кого он нас покинул? Как мы теперь? Но прошло – сколько? – почти тридцать лет, и мы, конечно, ничего подобного не видали. Поэтому перед мамой вечером встала серьезнейшая проблема: во что завтра одеть ребенка в школу? Почему-то нам не ничего не сказали про траурную форму – мама помнила черные не то повязки, не то ленточки на лацкане, но отец издевательским тоном сказал: может, черные рубашки? – и она занервничала еще сильнее, черной рубашки, разумеется, в доме не было. Она позвонила Светкиной маме, напористой, голосистой председательнице родительского комитета, и та не ударила в грязь лицом, сказала подшить черной тесьмой воротник белой рубашки. На следующее утро нас таких трое, с черной тесьмой, оказалось трое – двое, чьи родители позвонили Светкиной маме, плюс сама Светка. Остальные, кажется, пришли как всегда.

Можно было, конечно, посоветоваться с бабушкой, но бабушка с дедом заперлись у себя в комнате и не выходили с обеда. Бабушка была вторым взрослым человеком, который в тот день плакал у меня на глазах. Почему-то мне казалось, что я ошарашу их новостью о всесоюзной смерти, – но бабушка встретила меня на пороге с покрасневшими глазами, и я был несколько разочарован, – я тогда не знал, что первым убивают гонца, – и тут она сказала: «Деточка, Леня умер», я только понял, что у нее какое-то свое горе, и спросил: «Кто это?» Она не ответила, а я не решился переспросить, пошел за ней на кухню, съел разогретый обед, и только через час, за уроками, услышал через стенку ее всхлипывания и изъеденный трахомой голос деда, – и понял, что Леня – это наш дорогой Леонид Ильич.

Дед и бабка на протяжении почти двух десятков лет медленно ползли за Брежневым по длинной карьерной колее – из Днепропетровска в Молдавию, из Молдавии, минуя несколько коротких этапов, – в Москву. Мама родилась в теплом и липком Кишиневе и до конца своих дней жаловалась на московское центральное отопление. В свое время дед был ни много, ни мало – Ленькиным начальником, они и жили-то дверь в дверь, и Ленькины молодецкие запои обычно заканчивались слезами на общей лестничной площадке, пока бабушка и Виктория не подхватывали пьяного красавца под руки и не доводили до

дивана. Связь двух семейств прервалась, когда Ленька сильно пошел вверх по партийной линии – дед был евреем, больше ему при старом друге места не находилось, и только тридцать с лишним лет спустя бабушка выговорила это «Леня»: смерть не только отнимает, но и возвращает.

Но все это будет потом, несколько часов спустя, а сейчас рядом со мной плакала девочка – но я ее не видел: она тихо всхлипывала у меня за левым плечом, я не мог обернуться к ней, потому что в почетном карауле не то что крутиться – шевелиться было нельзя, а я, октябренок, звеньевой, стоял впереди, и бюст Брежнева – гипсовый, белый, – теперь посмертная маска, — пялился мне в затылок. Два шага вправо, два шага назад – там стояла Чернова, два шага влево, два шага назад – Королева, она-то и всхлипывала, все десять минут. И когда часы наконец показали половину второго, мы с Черновой чеканно повернулись налеееее-во!, а Королева запоздала, – видимо, пропустила момент, когда минутная стрелка, спружинив, вцепилась в шестерку, – и смена караула вышла несколько менее траурной и торжественной, чем полагалось. Мы домаршировали до коридора, я дважды поскользнулся на слякоти, занесенной с улицы сапогами двухсот пятидесяти человек, учившихся в первую смену, и, наконец, перешли на нормальный шаг. Королева начала вытирать слезы фартуком, а я, хорошо воспитанный еврейский мальчик, протянул ей платок, и только через пятнадцать минут, уже выйдя за ворота школы, почти в конце мокрой, засаженной тополями аллеи, понял, что провожаю Машу домой.

Я должен был забрать платок и уйти восвояси еще там, в коридоре, или, на худой конец, расстаться с ней у ворот школы, за калиткой в конце концов, но уж точно не идти провожать девочку, которая мне совсем не нравилась, – потому что это многое значило, пойти провожать домой, после такого уже былоне отвертеться, но она все говорила и говорила, а я все шел и шел за ней, и так мы дошли до трамвайной остановки. Я совершенно не помню, что она говорила в первые пять минут – что-то про Нину Николаевну, контрольную, кого-то, кто что-то списал у кого-то еще, дежурство по классу, невымытую доску, – и наконец замолчала, и тогда я спросил:

– Так ты из-за тряпки, что ли, плакала? –

А она сказала:

– Нет. Из-за Америки.

– То есть?

– Теперь же будет война. И нас всех убьют, потому что раз Брежнев умер, они сбросят на нас нейтронную бомбу, и мы все погибнем. Знаешь, что будет? Все будет, как было. Дома будут целые, и деревья, и даже кошки и собаки, а там, где стояли люди, будут просто валяться вещи. Гольфы. Пуговицы от пиджака. А нас всех не будет.

Десять или даже двенадцать лет спустя я пижонствовал, рассказывая своим приятелям – а особенно девушкам – о том, что все мои желания всегда исполняются. Девушки краснели, ситуация работала на меня. Я же любил, покачивая головой, жаловаться, что у человека с такой особенностью нереализованных желаний остается крайне мало, и приходится хотеть чего-нибудь метафизического, – я тогда очень любил это слово. В частности, говорил я, мне хотелось бы испытать подлинный, беспримесный ужас. Сейчас я готов признаться, что желание это сбылось – и сбылось дважды, но про первый раз я предпочитал никогда не вспоминать: был день смерти Брежнева, девочка рассказывала мне про нейтронную бомбу, мы стояли возле трамвайной остановки, и от паха к животу, а потом выше, поднималось какое-то холодное белое молоко, в котором поочередно растворялись мышцы, кости, сердце. Потому что до войны оставалось несколько дней, в

этом не было никаких сомнений. Как-то мама, рассматривая принесенный отцом альбом «Хиросима» с *той самой* девочкой на обложке, сказала: «Живые позавидуют мертвым».

У девочки, стоявшей рядом со мной, были веснушки и постоянно сползающие колготки, а у меня не было ни вдоха, ни выдоха, ни дрожащих коленей, ни алюминиевых пуговиц на форменном пиджаке, ни единого слова, – ни сил идти одному мимо мокрой обшарпанной голубятни, в которой местный сумасшедший разводил кур и чуть ли не фазанов, и от которой до моего дома было еще как минимум десять минут. И вот я пошел, пошел прямо, прямо к одному из грузных домов на той стороне проспекта, – герб над подъездом, уже потрескавшаяся лепнина, всё то, что шутники потом назовут «стиль вампир», редкие в те годы машины у подъезда, – и одна из них принадлежала Машиному папе. Должность в Академии наук давала право и на четырехкомнатную квартиру, и на черную «Волгу», и на пластиночки Wrigley's, которыми Машка угощала половину класса – не то из тщеславия, не то просто по доброте. И Маша Королева пошла за мной, впервые в жизни провожавшим девушку до подъезда, и у меня ушла минута на то, чтобы найти тему для разговора. Я не мог говорить о бомбе и не мог думать ни о чем, кроме бомбы, и тогда я сказал:

– Давай играть в города.

И она начала первой, сказав:

- Москва.
- Анадырь.
- Ростов.
- Вашингтон.
- Нью-Йорк.
- Канзас.
- Сиэтл.
- Лос-Анджелес.
- Сан-Франциско.

Восточное побережье США, 8.000 м. над уровнем моря

Самолётик на экране рывками, как в плохом мультфильме, отъезжает от Бостона. Зажигают свет, по салону проходит стюардесса, я смотрю чуть назад – там через проход девушка пялится в ноутбук, на нём бежит какая-то игрушка, судя по отсветам на лице; я усаживаюсь обратно. Стюардесса не реагирует на вызов, я жду, жду, потом хватаю её за рукав. – Can I have a glass of water, please? And an empty glass. – An empty glass? – Смотрит на меня с подозрением, но приносит. Осторожно, не вынимая бутылку из рюкзака, опускаю столик, наполняю пустой стакан, и с независимым видом ставлю его рядом с водой. Ну, мадмуазель, что Вы, что Вы. Это из моих личных запасов яблочного сока, я всегда вожу с собой яблочный сок. Мой сын, кстати, очень любит яблочный сок – а Ваш сын? Виски обжигает горло, надо было брать Tullamore Due, он всё-таки мягче, – хотя какая разница.

- I saw everything! – радостно сообщает мне шоколадный мальчик.
- What?
- You have a bottle in your bag!
- Yep. Right. – Я стараюсь улыбнуться. – What is your name?
- Steve.
- Nice to meet you, Steve. I'm Mark.

Он протягивает мне горячую лапку.

– Nice to meet you!

Мама Стива улыбается мне, папа смотрит в иллюминатор, на внешнем стекле уже должна была появиться морозная звёздочка, но мне отсюда не видно. Я снова наклоняюсь к рюкзаку, рукоять чуть поблёскивает, и я думаю об этом блеске, о том, что салон бизнес-класса – это всего пять рядов кресел – или шесть? – я никогда не летаю бизнес-классом, о том, что дверь в кабину должна быть заперта. Отстёгиваю ремень и иду в хвост, план мой зреет у меня в голове, я рассматриваю пассажиров, но мельком, это как фотографии – мгновенные картинки. В детстве у меня была такая игра: я шёл по улице с закрытыми глазами, ненадолго открывая их и тут же закрывая. Картинка на некоторое время впечатывалась во внутреннюю сторону век. Почти все дремлют. Я могу выиграть на этом секунд десять.

Московский Государственный Университет, Воробьевы Горы

Грохотало страшно. Какая-то полуголая первокурсница в бантах дурным голосом орала в микрофон про «Not gonna get us», а дальше, в соответствии с тематикой мероприятия – День Физика, окончание сессии, всё-таки – про сверхсветовую скорость. Слева компания её сверстников, расположившись на травке, пила пиво. Маша смотрела на них во все глаза: вот так в открытую? Пиво? А двадцать один им есть? Нет, Машечка, им нет двадцати одного, нет. А потом они водку пойдут пить, я сам ходил, верь мне. Один из таких Дней Архимеда закончился для меня тем, что я, совершенно не вяжущий лыка, в четыре часа утра пошёл ломать сирень для своей недолгой, но очень сильной тогдашней любви. А потом не нашёл комнату в Главном Здании, где мы сидели – 15.39, что ли? Не нашёл. И пошёл пешком домой. С сиренью. Сейчас бы подарил первой же девушке на улице. Другое дело, что какие девушки на улице в четыре утра? А с третьей стороны, часто ли этим девушкам дарят что-нибудь, хотя бы и сирень? Маша уже, кажется, не очень удивлялась. Ну водку. Ну сирень.

Основная задача состояла в том, чтобы выцепить в толпе своих знакомцев, многие из которых за последние пять лет, надо полагать, несколько изменились. Если я правильно помню свой курс, отдельные его представители могли бы даже покрыться чешуёй или отрастить себе дополнительные чувствилища. Меня несколько мучала совесть, что я притащил её на ностальгическое мероприятие – привет, Том Лерер, привет six parts gin to one part vermouth. Это я услышал откуда-то из-за спины. Обернувшись, я увидел, что под голубой елью сидит Даня и поёт, да, College Alma Mater Song. Мы стали пробиваться к ним – семьи, детям по шесть-семь, у некоторых двое, пожилые выпускники непонятных лет, страшно подумать, с внуками, – на месте выяснилось, что возле Дани уже стоит человек пять или шесть наших – Инка, Макс, Оля с Пашкой, Таня с сыном, с Лёвкой, Шамиль, - отпрыск известного, кстати говоря, Машечка, астрофизика Люняева, ты знаешь его наверняка, мировая знаменитость. Даня ударил по струнам, закончив на бодром Nikolay Ivanovich Lobachevsky is his name!

– Это Даня. Это Маша.

– Очень приятно.

– Какая песенка у вас трогательная, – Маша взяла Даню за локоть, – Я не могла себе представить, что эта субкультура ещё существует.

– Какая субкультура?

– Ну вот капустник, песенки эти.

Даня, поначалу слегка прифигевший, явно испытывал соблазн присвоить себе лавры Тома Лерера, но, посмотрев на меня, понял, что номер не пройдёт.

– Понимаете, Маша, – осторожно сказал он. – Это как-то Том Лерер. Это меня вот Марк научил ему на пятом курсе, мы понимаем. И, кажется, в этой стране мы единственные два человека, которые его знают.

Я стоял и смотрел, как они разговаривают, как Даня объясняет ей, кто такой Том Лерер, потому что кто же в Америке знает Тома Лерера, только герои фильмов Вуди Аллена и бывшие советские физики; смотрел, как она вертит в пальцах заколку, щёлкает ею, как на его лице постепенно появляется эта специальная улыбка, Инка и Макс, – особенно Макс, – должны хорошо её помнить, а она смеётся, щёлкает заколкой – и тут я понимаю вдруг, out of the blue, ниоткуда понимаю, что вот без того, как она улыбается, без этого сухого щелчка простенькой заколки, без этого промелька другого – ее - мира среди птичьего ора и молчащих ещё фонтанов, – я не собираюсь без этого жить. Я захлёбываюсь, я смотрю на неё, у меня полные лёгкие даймов и никелей, совсем уже лёгеньких пенни, солнце, листья, всякое такое, раннее московское лето, – это всё, господи, откуда? Это что за пружинка распрямилась через столько лет, это зачем? А это так устроено, щелчок, ещё щелчок, всё встаёт на место, какая-то мелочь, я задыхаюсь, щелчок, я не буду без этого жить, я не собираюсь, я не. И ты, ты тоже не, слышишь, ты тоже.

– Вот, – говорил я ей через полчаса почти в самое ухо, хотя, в общем, даже так мало что было слышно, – посмотри, новый класс: Макс – хедхантер, партнёр в какой-то компании с идиотским названием, «сосновое чего-то», 60.000 в год, между прочим, - для Москвы не пиздец, что такое, но реально немало. У Дани мебельная фирма, тоже всё очень ничего, кажется. А вот Пашка с Олей занимаются наукой – и как они при этом решились завести двоих детей я, видит бог, не понимаю.

– В смысле?

– В смысле, что у них доход на семью – ну в очень хорошие месяцы – штука, если я правильно себе представляю. Боря не знаю, чем занимается, такое впечатление, что ничем, – ходит на курсы интерьерного дизайна и ездит в Барселону, а кто за это платит, мы не очень знаем, но знаем, что не женат и в обществе дам не замечен. Таня, кажется, ждёт второго, как и семь лет назад хочет, я полагаю, выучить французский, Шамиль, говорят, собирается куда-то в Нью-Мексико, обсеватория там, что ли. А Петя, про которого тебе Даня говорил, – он до того, как всё случилось, ещё на нашем пятом курсе таскал откуда-то деньги чемоданами, ну я не преувеличиваю, чемоданами. Причем первый чемодан он сделал, кажется, на торговле новогодними елками, – тогда можно было какими-то совершенно невообразимыми способами сделать чемодан денег. И если бы он был жив, то, я думаю, сидел бы сейчас на цугундере в качестве самого богатого человека страны.

– А что с ним случилось?

– Так кто же это знает. Нашли повешенным на ёлке в Измайловском парке. Непонятно ничего. Я был на похоронах, пытался расспрашивать Алёну, сестру, но она делала вид, что не понимает, о ком я вообще спрашиваю и чьи похороны. Ну, тогда всякое случилось, мало ли.

Первокурсники на ступенях закончили с балаганом и перешли к так называемой пивной эстафете.

– Пойдём, а? А то они сейчас закончат с эстафетой и будут играть в шашки рюмками с клюковкой, которая красная, и обычной водкой. То есть вот двое садятся за доску и играют. Когда кто-нибудь съедает шашку, он её выпивает. И так пока не доиграются. Или ещё есть такое выражение, знаешь, «бивнями в паркет». Пошли, пошли отсюда.

И мы пошли.

- Я иногда думаю, что наверное, мы последние, кто застал эту студенческую жизнь в таком виде – с картошкой, с летним трудовым лагерем, – в Дагомысе, помнишь?
- Почему? Ну, то есть, почему последние?
- А потому что вот смотри, Андрею, скажем, поступать через семь лет. И если всё пойдёт как идет, если не рванёт по-крупному, а у меня, знаешь, такое чувство, что всё равно может – и ещё как – так вот, если всё будет нормально более или менее, то ему уже нужно будет одновременно работать, уже нужно будет начинать после четвертого курса думать о карьере, о том, что дальше делать. ну и вообще.
- А ты что, на четвертом курсе, хочешь сказать, не думал о карьере?
- Ты знаешь, нет. На четвертом курсе я жил в Главном Здании, в профилактории, курил сигареты «Дымок», покупал траву у казахов, ел феназепам и думал, как заработать денег, чтобы заплатить алименты. И питался китайской быстрорастворимой лапшой.

Передёрнула плечами.

- Как вы живёте тут... Ну, то есть, собственно, вы не тут живёте, а где-то нигде. Я вчера была в гостях у Верки с Сергеем – они уже пять лет женаты, работают оба, ну, в общем, всё хорошо у них. Мы засиделись совсем уже до ночи на кухне. Я спрашиваю Верку – чего вы ребёночка не родите? А она начинает мяукать что-то нечленораздельное, и я через некоторое время понимаю, что они просто живут не как люди, а начерно, чтобы потом перебелить. Вы что думаете, вы тут кошки с запасными жизнями? Ох, прости, ладно, чего я...
- А это, Машечка, нормально. Это не чтобы перебелить. Знаешь, почему в России в деревнях старались не строить добротных домов – ну, как в Европе?
- Почему?
- А потому что всё равно придут и сожгут. Или просто отнимут. Смысла нет. А сарайчик какой-нибудь, может, и не тронут.
- Но это же не дом, Марик. Это жизнь, да?
- Ну да. И чего?

– О! Вот как хорошо, что я вас увидел! Теперь всё, можно никуда не спешить.

Юра истончается. Становится год от года всё более восковым и пугает меня всё больше. Идёт с нами и рассказывает, что вот, он перестал принимать таблетки, ему надоело, от них бесконечно хочется спать, спать, а больше ничего не хочется, а уже ему тридцать лет, мама хочет выжить его из дому и он должен быть начеку, она его уже один раз сдала в больницу, там плохо. Но, говорит он, тут голос его крепчает, но есть надежда, потому что Господь с ним и зажёт в нём веру, маленькую, как колибри, но всё-таки, всё-таки. Как ты думаешь, – спрашивает он меня, Маши не замечая как бы, – как ты думаешь, это Бог говорит со мною или я болею, или ещё кто другой разговаривает, что это? Я говорю, смотри, Юрка, спроси этот голос, вот как св. Игнатий Брянчанинов учил, спроси его, строго только: «Кто ты и откуда?». И вот, вроде, тогда если бес, то растает, а если правильный кто-нибудь, вроде ангела, назовётся и всё честно расскажет. А он говорит, спасибо, я так и сделаю в следующий раз. И я пугаюсь. Маша, видимо, пугается ещё больше. Юра вдруг быстро прощается и вскакивает в подошедший троллейбус.

– Какой кошмар. Послушай, у него же явно ничего страшного, его же можно адаптировать безо всяких усилий. У нас в супермаркете рядом аутист работает, а с ними же вообще очень тяжело. Он только отходит иногда, кланяется в сторону и возвращается, работает, у него зарплата, страховка, всё, что положено, жизнь какая-то. А тут совсем всё легко – этот

же почти всё время вменяемый, я не понимаю. Почему он выглядит как нищий, ну объясни мне.

– Он и есть нищий in your terms. Не мучай меня, а? Пожалуйста. Я не знаю, у меня вообще всегда ощущение, что мою жизнь от их отделяет какая-то совсем небольшая случайность, крохотная. Вот одна какая-то деталька не встала на место – и всё, это ты сейчас ему бы произносила обличающий монолог, а я бы ехал в троллейбусе и спрашивал их, кто они и откуда, понимаешь? А они бы кричали на меня, ты вообще знаешь, как они кричат?

Она берёт меня под руку, мы проходим так некоторое время, она заглядывает мне в глаза, отпускает меня и дальше мы идём порознь.

Тридцать девятый трамвай, по покатым мостам, ля-ля-ля, хуё-моё.

27 мая 1983 года

Можно было, наверное, выбрать какую-нибудь другую пластинку из тех приблизительно двух сотен, которые стояли на полках между двумя книжными шкафами. На самой верхней помещалась Вега-106, – пластик, покрашенный под дерево, прозрачная крышка, от которой проигрыватель становился похож на волшебный сундук из будущего. Например, амиговскую можно было, привезенную Феликсом из ГДР, пластинку Эллы и Льюиса, где они на два голоса пели Dancing Cheek To Cheek – и тогда, я, возможно, не упустил бы единственный в своей жизни шанс научиться танцевать. Может быть, именно урока танцев я и испугался, а может, та, другая пластинка показалась мне более подходящей ко всей этой зелени, к только что запущенным фонтанам, к орущим птицам, к яркому Машкиному сарафану, сменившему школьную форму. Сейчас я, щёлкнув пальцами (oops – щелчок здесь), произнесу фразу «ее родителей не было дома» – помните, что нам было по одиннадцать лет, и это значило, что нас просто не будут тащить пить чай, спрашивать, все ли у нас в порядке и лезть с невыносимым: «Ты рад каникулам?» Я был ужасно рад каникулам, ужасно, а ее родителей не было дома, я вошел в пахнущий кошками и известкой подъезд, а под мышкой у меня была болгарская пластинка «Лучшие вокалисты джаза». Шесть имен на одной стороне и шесть тех же, но с другими песнями – на другой.

Маша впустила меня, я разулся в начале длинного коридора, пахнувшего приторным и мягким – Машина мама душилась «Клима», точно так же, как и моя, но только у моей на каждый день был «Весенний букет». Проигрыватель стоял в гостиной, и мы, кажется, впервые сидели в гостиной одни. Нам оставили бутерброды и «Пепси-Колу», – продавалась она не везде, стояла дорого, ассоциировалась у меня с тортом и свечами, и я все острее чувствовал, что это какой-то важный день, не просто весна, не просто каникулы. Сейчас я понимаю, что обязан был съесть и похвалить бутерброд, а может, и два. И, может быть, сказать, как красиво разложены салфетки, или сделать еще какой-нибудь комплимент, – потому что в этот раз, в первый раз, стол накрывала она, а не мама, но это я, конечно, понял только через много лет, в Лимерике, в пабе, где ни с того, ни с сего играла What Are You Doing The Rest Of Your Life – и я вспомнил: слишком громкое потрескивание затертой пластинки, слишком яркое небо, слишком аккуратные бутерброды, от которых пришла бы в восторг учительница домоводства. Но я не сообразил – и поэтому просто налил себе Пепси и поставил пластинку – третья песенка на второй стороне. What Are You Doing The Rest Of Your Life? – спросил Синатра, «Что он поет?» – спросила Маша, я начал рассказывать.

I want to see your face in every kind of light. Я учил английский больше четырех лет, раз в неделю, мне преподавала мамина подруга, служившая на Radio Moscow, – то есть, она давала угнетенному рабочему классу Соединенных Штатов возможность узнать правду о

миролюбивой политике Советского Союза и коварных планах их родной американской военщины. В школе английский только начинался. Я же находился на той блаженной стадии изучения языка, когда в любом тексте слышишь ровно то, что тебе нужно. «Я хочу видеть твое лицо, когда вижу свет». In fields of dawn and forests of the night. Мать не понимала английского совсем, хотя сдавала и аспирантский минимум, и еще что-то, а отец мог проговорить все эти песенки наизусть – но понимал меньше меня, и я иногда помогал ему разобрать слова, заполняя лакуны чем-то вроде «кажется» и «тра-ла-ла», но сейчас все было по-другому. «Когда небо только появляется и когда его вовсе нет», – говорил я, в то время как отцу пришлось бы удовольствоваться фразой «что-то про лес и поле». And when you stand before the candles on a cake. Я повернулся к окну, потому что мне не хотелось, чтобы Маша видела мое лицо. «Перед нами стоят свечи и праздничный торт». Oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Это была сложная строчка, а мне нельзя было прерываться, и я сказал: «Я молча смотрю на тебя, а ты на меня». Я действительно представлял себе свечи и пирог – но, конечно, не в этой комнате и уж точно не в нашей двухкомнатной квартире, где я до десяти лет спал в гостиной, пока бабушка и дедушка не умерли, сначала она, потом он, с разницей в один месяц – без нее он начал задыхаться среди бела дня и задохнулся раньше, чем скорая добралась до нашего района у черта на куличках. Я видел торт и свечи, и мужчину с женщиной, говоривших элегантные фразы на мурлыкающем чужом языке, который я почти понимал, – по крайней мере, настолько, чтобы до конца своих дней всегда узнавать его на слух, как бы ни трещала пластинка, как бы неразборчиво ни звучал механический голос в аэропорту, какие бы мелкие осколки не оставлял от него акцент – малайзийский, румынский, португальский. What are you doing the rest of your life? Я понял эту фразу ровно наполовину – на ту, которая могла иметь ко мне отношение, потому что «rest of my life», ясное дело, начиналась примерно с института, а еще вернее – с диплома, а до тех пор все было ясно и думать не о чем. «Что мы будем делать?» – спросил я Машу, – и, в общем-то, не слишком далеко ушел от общего смысла фразы. North and South and East and West of your life. Я сбился и замолчал.

Маша сидела в кресле и рассматривала обложку от пластинки, – желтую, красную, зеленую, яркую, как ее сарафан. Все слова казались знакомыми, но чужими – когда мне было шестнадцать, мне попала в руки болгарская газета, и непонятные слова понятными буквами показались мне угрожающими. А в тот момент надо было куда-то деться. Я подошел к горке – в такие обычно ставили хрусталь, а эта была заполнена раскрашенными резиновыми игрушками, – их еще надо было уметь достать, такие игрушки, так что в горке для хрустраля они были вполне уместны. Одна дверка не была заперта, и я вынул Микки-Мауса с цепочкой и колечком в голове. Микки-Маус протопал сначала по Машиной руке, потом по плечу и остановился у банта на затылке. Маша поёжилась и спросила: «Ты почему ничего не ешь?» – тогда я подошел к столу и взял бутерброд.

I have only one request of your life
That you spend it all with me
All the seasons and the times of your days
All the nickels and the dimes of your days
Let the reasons and the rhymes of your days
All begin and end with me.

Машина мама настояла на том, чтобы Микки-Маус остался у меня – я все еще крутил его в руках, когда она пришла домой и поинтересовалась, рад ли я каникулам. Он очень быстро куда-то делся, и я ни разу о нем не вспомнил. До сегодняшнего дня.

Север, юг, запад, восток.

Северо-Западная Атлантика, 10. 670 м над уровнем моря

Нантакет позади, позади Баффинова земля, интересно, почему они не летят прямо? Что-то мне объясняли про воздушные течения, но я всё-таки подозреваю, что коридоры для гражданской авиации связаны не с воздушными течениями, а с какими-то военными соображениями – база в Tule, из-за которой мне, видимо, не дали разрешения на поездку в Аванерсуак, какие-то такие вещи. Я слежу за самолетиком на экране, у меня не так уж много вариантов и не так уж много времени – до суши. Стюардесса исправно, как хороший зайчик носит мне воду и лёд, но смотрит на меня уже как-то подозрительно. – Видите ли, мадмуазель, – придумываю я про себя объяснение, – у меня не очень здоровые почки, врач велит мне пить много воды. И сока.

И сока.

Москва, усадьба “Царицыно”

Плохо, когда День Рождения летом, это все знают. Когда день рождения в июле – вообще беда, уже друзья все разъезжаются, каникулы, пионерские лагеря, вступительные экзамены, – и даже в тридцать это невезение отпускает тебя не совсем, потому что в России до сих пор принято уходить в отпуск летом, даже у тех, кто вполне может позволить себе две декабрьские недели на Бали или хотя бы одну январскую в Египте. Чем высчитывать, кто придёт, кто не придёт, чем рисковать, что пойдёт дождь, а ты только нацелился устроить пикник на открытом воздухе – нет, легче уж вообще ничего не отмечать. Я и не отмечаю, но зато она позвонила меня поздравить и совершенно не удивилась, что я не отмечаю, говорит, у нас это вообще не очень принято, день рождения, – а пошли послезавтра в Царицыно, там День Независимости, я тебя проведу, вряд ли это будет так уж хорошо, но чего, погода приятная, там, говорят, красиво. Там красиво, да.

Только опять толпа, опять громко, чёрный охранник в форме морского пехотинца у входа, металлоискатель, я выворачиваю карманы: плеер, два пятака, ключи, охранник глядит в Машин паспорт, улыбается, мы проходим. Почти ничего не изменилось с тех пор, как я был здесь в прошлый раз, проходил тогда не по чужому паспорту, а по чужому пропуску, она работала в американской фармацевтической фирме, исполнительным секретарём, менеджером, не помню. Один наш общий приятель очень смеялся над названием этой самой фирмы – «Если бы у меня была фамилия Сквибб, я бы удавился». Мы то встречались в омерзительном, чудовищно дорогом московском «Хилтоне», где у фирмы был офис, то ехали вместе на корпоративный уикенд в «Вороново», бывший пансионат «Госснаба», а один раз, да, провели удивительный вечер здесь, в Царицыно, милостью Американской Торговой Палаты.

Праздник как праздник. Гиннесс, попкорн, хот-доги, сотрудники американских фирм, мелкие клерки из посольства, несчастнее которых трудно себе кого-нибудь вообразить, чьи-то дети, солнце, ветер и редкие облака. Маша встретила посольских знакомых, они по-английски говорили что-то недоброе про московское лето, чуть поодаль. Ноги гудели. Я вытянулся на пластмассовом стуле и запрокинул голову так, чтобы видно было только небо. Nikon лежал в сумке мёртвым грузом, в темноте, снимать не хотелось, хотелось смотреть. И потом, это неестественная среда обитания. Облака вот только – но слишком

прямой свет, ярковато. Прямо надо мной висел замечательный представитель рода *Cirrus*, невесомый, - совершенной формы перышко, каллиграфический росчерк по синему. Чуть слева были живописно набросаны восхитительные перисто-кучевые *Cirrocumulus*, три белых кролика, которые никуда не торопятся, не опаздывают, никуда не собираются бежать. Единственной подходящей моделью был висевший на той стороне пруда, над лесом, *Cumulus*, но тут никак было не обойтись без градиента, которого у меня с собой как раз и не было.

Подошла, положила руки мне на плечи. Я выпрямился. Присела.

– Как ты?

– Я прекрасно.

– Ты не скучаешь?

– Совсем нет, смотри небо какое.

Я слегка повернул голову, она снизу заглянула мне в глаза.

– Пойдём погуляем, а?

Гравийная дорожка поскрипывала под ногами, шуршала, английская речь мешалась с русской.

– Хелен рассказывает, что Московскому зоопарку доверили панд. Говорит, привезут через месяц из Сан-Диего. Она курирует какие-то эти неправительственные программы. Я их там видела, в Сан-Диего. Удивительные какие-то медведи.

– Панда – не медведь, Машечка. Панда – это енот. А визы им легко дали?

– Кому?

– Ну пандам, пандам. А то российские визы – это, знаешь, почище американских. У меня был знакомый французский мальчик, он три месяца сидел в Праге, ждал российской визы. Выучил за это время русский язык и научился давать взятки. У него какая-то любовь была в Липецке безумная. Я ему переводил письма – с английского, правда, – а они потом приглашали меня на свадьбу в Дижон, но я не выбрался.

– Ты вот всё шутишь. А в Сан-Диего весь зоопарк завешан плакатами: *Understanding panda's pregnancy. Creating better future for giant pandas*. А в павильоне висят портреты умерших панд с годами жизни.

– Совсем ебанулись. А ты понимаешь в чем с ними проблема, да, с пандами?

– Ну понимаю, их осталось несколько десятков, они нежные...

– Да нет, они не просто нежные. У них девочка может забеременеть три дня в году. Я вот думаю, что если господь бог так устроил животное, он, видимо, не очень хотел, чтобы оно размножалось.

– Слушай, это как же им повезло, а?

– Ммм. Прежде чем об этом говорить, я бы, знаешь, поинтересовался, сколько дней в году они трахаются.

– А сколько?

– Никогда не приходило в голову узнать. У меня да, как-то меняются с возрастом предпочтения в этой области, но панды прошли в общем и целом мимо меня.

Смеётся.

– Ну так вот. Их возят из страны в страну. Они вообще-то из Китая. Они вот родили ребёночка в Сан-Диего, а теперь их в Москву везут рожать.

– Послушай, это странная идея. Если есть место, где плохо рожать, так это Москва. Во-первых, холодно, во-вторых, медицина бесплатная, в третьих, в роддомах сплошной стафилококк. И я знаю, знаю, зачем их в Штаты из Китая привезли: это программа диверсификации этнического состава иммигрантов. Вот ребёночку ихнему теперь же гражданство положено, я правильно понимаю?

– Да ну тебя, Марик, невозможно с тобой серьёзно разговаривать. Пойдём лучше на них смотреть, когда их привезут.

– Не могу я, Машечка. Я через месяц буду в Куала-Лумпуре, фотографировать самые высокие в мире небоскрёбы в естественной среде обитания, а президент Мохаммад Мохатхир будет махать мне платком с балкона.

– А никак нельзя не поехать?

Такую фразу всегда получаешь впроброс, вполоборота, вскользь, на границе поля зрения, почти неслышно, получаешь этот ответ так, что едва не пропускаешь ее, - тень, мелькнувшая в углу картины, - но стоит обернуться, и получаешь удар, мгновенную сильную боль, как от втянутой слишком быстро дорожки фенамина, и вот она, фраза, смотрит на тебя глазами, пытается улыбнуться. Тогда ты трогаешь вытянутым указательным пальцем ее, фразы, локтевой сгиб и говоришь:

– Никак, Машечка, я уже узнавал. Просто им некого больше послать, а это центральный репортаж номера. Я не могу.

Никак нельзя не ехать, нельзя, взяла меня за руку и потёрлась о моё плечо. Горький привкус чёрного Гиннеса у меня во рту, как бы его перебить, – я роюсь в карманах, десятикопеечная монета, завалывшаяся упаковка слипшихся Halls, кисловатая облатка леденца царапает язык. Мы снова вышли к пруду, к толпе, пришлось отпустить друг друга.

На берегу стояла длинная платформа от БЕЛАЗа, то есть, собственно, БЕЛАЗ, самый длинный советский грузовик, задрапированный огромным американским флагом, превращённый в сцену. На платформе суетились музыканты, кажется «Ржаной хлеб» – и да, точно, указания раздавал невысокий человек с подвижным лицом, одетый в какие-то замечательные лохмотья, – если меня, например, спросить, как одевался Биг Билл Брунзи, то я что-то такое и описал бы.

– Смотри, смотри, это замечательный персонаж, Доктор Осмоловский, он вообще-то физхимик, доктор – это потому что доктор наук. Блюз он играет ради собственного удовольствия, – он довольно известный музыкант, но физхимию не бросает. Говорит: «Ну что уже бросать. Так я стареющий физхимик. А займусь только музыкой – буду стареющий блюзмен. Шило на мыло».

Ответить она не успела, потому что Доктор запел Luisiana Red, а потом Hellhound on my trail и Leavin' blues под конец, и как-то так он пел, что у меня, небольшого любителя rout-grass culture и бесконечного нытья на 12 тактов, всё обрывалось и срасталось внутри, а Маша вцепилась в рукав моей ветровки и не отпускала уже, а я, на словах бисовой "Baby, please don't go" изо всех сил стал вглядываться в своего знакомого Cumulus над лесом, пытаюсь думать о закатном освещении, мысленно подбирать фильтр и ракурс. Они сошли со сцены окончательно после овации, устроенной клерками и сочувствующими, и тут почти сразу, без перерыва заиграли гимн, а на том берегу начали взрываться петарды и полетели вверх ракеты, O beautiful for heroes, фейерверк. У меня внутри ничего не было кроме раздражения, мелодия мешала мне петь про себя «Baby please don't go back to New Orleans », но все вокруг, who more than self their country loved, все они как-то подобрались и смотрели теперь тоже в небо, где с шипением и грохотом распускались игрушечные зонтики Оле-Лукойе и букеты полевых цветов, пели все вместе, над водой, над лесом, под облаками, America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. В воздухе распустился последний букетик, сгорел. Я обернулся к Маше, намереваясь сказать ей, что нам пора выбираться, праздник кончился. И увидел её лицо – совершенно мокрое от слёз. Я побоялся погладить её по щеке. А потом мы стали пробиваться к выходу.

– Прости меня, пожалуйста, – мы уже почти выбрались из толпы, когда она заговорила, – я понимаю, это совершенно идиотская сцена, вообще дикая какая-то. Никто не плачет во время исполнения гимна, это не то чтобы я ненормальная патриотка, которая рыдает при каждом удобном случае. Просто... Я не знаю, как объяснить. Это другая страна, другой город, не мой уже давно. Чужой. Как-то странно чужой, но всё равно. И я... Я там была как все остальные – далеко от дома, очень далеко. В общем, знаешь, я, кажется, поняла одну вещь сегодня. Это, - то есть, то, там, - это моя страна, вот со всем этим пафосом, от моря до моря, несмотря на все эмигрантские заморочки, несмотря на то, что отца через год после приезда выгнали с работы и ему пришлось переучиваться – в его возрасте. Несмотря на следующие три года в – в такой заднице, что ты не можешь себе представить, просто не можешь, ты так никогда не жил, ты не представляешь. Несмотря на то, шеф мой на постдоке был венгр по происхождению, они сбежали в 56-м и он ненавидел русских, ненавидел, он не хотел даже мне напакостить, он хотел, чтобы меня не было – ни в Университете, нигде. Вот это всё ничего не значит – и суки эти гестаповские в INS – тоже ничего не значат. Потому что это моя страна, потому что я её люблю – я никого и ничего так никогда не любила. Лизку только.

Замолчала, передёрнула плечами, я начал вылезать из ветровки она отмахнулась, не надо. Ветер, темно, фонари, тополь на той стороне улицы слегка поёжился.

– Мартин хороший, правда, он невероятно хороший. Он абсолютно нормальный человек, я не знаю, как бы я без него жила. Он такой спокойный, я точно знаю, что он никогда не потеряет голову, он меня терпел, когда я писала диссер, а у меня были мигрени, и я вообще не разговаривала неделями, а только выла и бросалась книгами, а он их собирал, шёл готовить мне ужин, который я отказывалась есть, а потом мыл посуду и садился подбирать мне материалы. А ещё я начинаю плакать, то есть, действительно, – когда вспоминаю, как мы позвали на Лизкин день рождения детей, а никто не пришёл, и он её развлекал весь вечер так, что она легла спать совершенно счастливая, с зайцем в обнимку, а я потом ещё прорыдала полночи, от счастья тоже, – что он есть, просто что он есть. Ты понимаешь?

Я понимаю, конечно, но как-то вчуже, умом, что ли – понимаю, – и отворачиваюсь от неё, совсем уж это незначит, и машу рукой, тачка вырывается с третьей полосы, чуть не визжит тормозами. И мы едем ко мне.

Утром, сложив свою раскладушку, которая едва поместилась на кухне, я приготовил ей завтрак. Постучался в спальню, она уже проснулась, вышла, умилилась кукурузным хлопьям и отказалась пить шестипроцентное молоко – слишком жирное, бесполезно.

13 декабря 1983 года

С трудом, чуть не из-под полы купленный VEF-204 в экспортном, «тропическом» исполнении оживал по вечерам, после того, как посуда была вымыта, а на столе в кухне воцарялся идеальный порядок. На клеёнку с шотландскими квадратиками выплёскивался сначала шуршащий песочек, выпадали острые лезвия коротких взвизгиваний, выкатывались металлические спирали периодически затихающего и вновь возобновляющегося гудения. Наконец из проволочного космоса выплывал суровый женский голос: “В эфире – программа Liberty Live, Свобода в прямом эфире”. Или, издевательским тоном: “...выбрали свободу, – не ту, которая осознанная необходимость, а ту, которая неосознанная потребность...”. “Вы слушаете Голос Америки из Вашингтона. Московское время – 22 часа 30 минут. Прослушайте новости в кратком изложении”.

Всё это я обычно слушал из-за прикрытой двери собственной комнаты, полоска света из прихожей падала на пол, чуть-чуть не добираясь до края кровати – к вою глушилок и естественным помехам добавлялась капитальная стена московской квартиры на первом этаже, шум, доносившийся иногда из подъезда, журчание воды – в ванной полощется бельё.

“По сообщениям независимых источников в Москве сегодня, 13 декабря 1983 года на своей даче застрелился бывший министр внутренних дел Н.А. Щёлоков. Несмотря на то, что официальные источники не подтверждают факта самоубийства, можно с достаточной уверенностью утверждать...”, – голос, и так едва слышный, уплывает, сквозь неплотно задёрнутые шторы я вижу кусочек дома напротив, там котором живёт Оля. Шум, песок, плывущие голоса – я очень любил всё это, – потому что они вызывали ощущение, скорее даже знание, что где-то рядом, за дверью находится огромный, совершенно неизвестный мир, волшебный – то же знание мальчики тридцатых годов получали из романов Фенимора Купера и Майн Рида, единственных, наверное, так и не прочтённых мной американских классиков. Голос возобновился, чуть тише: “Семьей Щелокова было взято в МВД СССР без оплаты 62 импортные хрустальные люстры стоимостью свыше 50 тыс. руб., видео- и магнитофонные кассеты на сумму более 20 тыс. руб. В ноябре 1980 года Щелокову в связи с его 70-летием Ю. М. Чурбанов вручил в качестве подарка от МВД СССР золотые карманные часы с золотой цепью...”. Стоимость часов потонула в однообразном, напоминавшем полицейскую сирену вое глушилки. Отец выключил приёмник.

– Довели мужика, – сказала мать, – это что же нужно с человеком сделать, чтобы он в 74 года застрелился?

– Они все одинаковые, – голос отца был едва слышен, – руки по локоть в крови.

– Ой только, пожалуйста, не начинай это всё при мне.

– Что я не начинай? Тебе 56-м было сколько, семь, восемь? А я соображал уже. А ты ещё ничего не соображала.

– Тише, тише, Марик спит. И что я не соображала, что ты соображал?? Сообразительный...

– Что-что! Что этот твой любитель дисциплины танками венгерскую революцию давил. Где это ещё возможно?? Председатель КГБ во главе государства! Рейды по кинотеатрам! Наведение элементарного порядка! Довели мужика! Да я бы из всех сам так довёл!

– Тише, тише ты.

– Что тише? Они убийцы, у них у всех руки по локоть в крови.

– Ладно, ладно, хорошо. Все убийцы, один ты хороший. А когда я тебе говорила: “Сенечка, поедем, Сенечка, поедем, Сенечка, поедем, Сенечка, – ты мне говорил что?? Ты мне говорил: Лена, я тут до сорока лет дожил и до конца доживу. Вот и живи со своими убийцами – но молчи уже! Андропов, Андропов. Ты не об Андропове думай, ты о семье своей думай. Ты обо мне думай, что я в одиннадцать часов вечера под твои вопли посуду мою. Ты про то думай, чем твой сын в ванной занимается.

– Что занимается? Чем занимается?

– А тем и занимается!

Скрипнула дверь, ведущая на кухню, голоса превратились в неразборчивое бормотание. Я лежал под душным одеялом, чувствуя, как краснею в темноте, как начинают гореть уши и веки и скручивает живот. Самое интересное, что я ничего особенного не делал в ванной, я всё делал в постели. Но это было неважно, потому что так или иначе, пусть случайно, меня вывели на чистую воду. “В ванной” – даже хуже. Это означало, не то, что меня поймали, а что *по мне видно*. Недаром Антон перечислял мне признаки онаниста – сейчас уже не помню, что там было, но кажется, красные глаза и дрожащие руки. Кроме того,

через год мне предстояло ослепнуть. Следующим вечером в доме появилась принесённая отцом книга по анатомии, – а в пятницу неизвестно куда исчезла. Года через два он вернёт её мне со словами о том, что он-то был не против, но вот, мама испугалась, что сын случайно узнает, как появляются дети. Ну он и узнал случайно, а уж к тринадцати годам представлял себе процесс в куда больших подробностях, чем те, что присутствовали в целомудренной анатомической книге. Там зато объяснялось значение того антошиного позорного слова, –неправильно, как я потом узнал. Библейский пастух практиковал не мастурбацию, а coitus interruptus, сравнительно безобидный даже по строгим меркам морального кодекса строителя коммунизма.

А вот про Венгрию мне рассказала в 93-м моя однокурсница, Хайнелка. Я пришёл к ней вечером 4 октября, прошатавшись весь день по загромождённой баррикадами Москве, укуренный в ноль, и, размахивая руками, рассказывал ей про то, с каким невероятным, фантастическим звуком осыпались стёкла Белого Дома, когда по нему дали первый танковый залп, о том, как со вспышкой бил гранатомёт с крыши, об окриках «Руки за голову, бегом сюда», о том, что танк расстрелял толпу, в которой я стоял, через полчаса после того, как мне наскучило и я решил переместиться поближе к месту событий, о том, что после хорошего косяка город выглядит огромной съёмочной площадкой, скифским военным лагерем.

Она слушала меня не прерывая, а я не замечал, что она стискивает руки и смотрит мимо меня и молчит, молчит, а когда её прорвало, на меня обрушился получасовой монолог о её отце, о заводе в Мишкольце, о тысячной толпе на площади Кошута и о том, как этих сволочей выволакивали прямо из райкомов и вешали, вешали, в расстреливали на месте, а потом они, вы, вы, вы, ваш Андропов, выродок, людоед, пусть его заживо жрут черви в аду, пусть он горит, они оба, он и Кадар. И Даллес, Даллес, не забыть Даллеса: «С точки зрения международного права и соглашений, я не думаю, что кто-нибудь может заявить, что ввод советских войск является нарушением договора...», Америка сдала их за невмешательство Союза в Шестидневную войну, сдала всех, не пошевелила пальцем. И мне нечего было ей сказать, на языке вертелось только «Гусев», но что Гусев, один праведник против такой ненависти. Она разрыдалась, я пересел к ней поближе, на неудобную кровать, в окне отражалась настольная лампа с зелёным абажуром, я обнял её, она постепенно успокоилась, до трех утра шептала, кричала, мяукала венгерские и английские слова, а в три выгнала, чтобы ни разу не заговорить со мной в следующие два года. В следующие десять лет. Я хочу думать, что она всё забыла, что она счастлива.

Северо-Западная Атлантика, 10.640 м над уровнем моря

Я вообще дружелюбный человек.

- So, Josie, what are you going to do in Moscow?
- Well, Jonathan got a job there, in Moscow Lylly office.
- Good. As I know, Russian brunch provides insulin on government contracts, so, they get budget money...
- Absolutely. How come you know all these details? It's probably more than I know about Lylly. It's scary. – Она улыбается.
- An old friend of mine works there.
- Mark, Mark! – Стив тормозит меня. – Look! This man is like a walrus. I saw one in San-Diego – they are so much alike!
- Stevey, please... – Джози глядит на него укоризненно, но морж всё равно спит, мне даже отсюда слышно, как он похрапывает. Он большой, смогу ли я справиться с ним, если придется? – такой как

навалится... Рыженькая стюардесса хлопает глазами, стоя слева от прохода так, что мне хорошо видно её – я мог бы сделать вид, что хочу подойти к ней с вопросом, а поравнявшись, броситься вперёд, через бизнес-класс... Скорее всего, она застыла бы, такой спокойный пассажир, не может быть. А стюардов тут нет – это теперь только на Air France возможно. Ну, ещё, конечно, на Thai Airways.

Джонатан, отец Стива, тоже спит – ну, он аж через два кресла от меня, мог бы и не спать, это всё равно. У него мягкие глаза за очками, хотя – тут его ребенок... Ребенок. Сколько ему? Лет семь? На три года младше Андрея.

– So, Mark, what do you do for living? – спрашивает Джози.
– I'm a photographer for "National Geographic".
– You make photos?? – Стив оживляется и разворачивается ко мне прыжком, как солдатик на шарнирах. – Really-really?
– Really-realy. – Я улыбаюсь и треплю его по голове, по жёстким курчавым волосам.

Суле Пайя, Рангун/Янгон, Мьянма

Здравствуй.

Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел, что-то там таблетки кровью проштравившегося портного, и, включив заводного. Я помню, да, это не здесь, это в Китае, династия Минь. Но некоторые вещи не знают времени, а тления убегают сами по себе, – это я к тому, что ветер по-прежнему несет нас на запад: как желтые семена. Ты начнешь двигаться на запад через неделю и окажешься дома, я начну двигаться на запад две недели спустя и тоже окажусь дома, между нашими домами будет семь тысяч километров. Знаешь, что интересно? Видимо, невозможно меня поместить в такую точку, чтобы Америка оказалась на востоке, – при всей моей географической прыти я всегда буду знать, что Америка – остроугольная фигура, похожая на два соприкасающихся куска говяжьей печенки и расположенная в левой части карты. Это последнее превращает ее в вечный запад, в Запад, – оба ее куска, западный и восточный.

А это странное место, – оно вечный Восток, где бы мы ни находились, и видела бы ты, какое солнце, какое золото, какие оплывающие формы – как солонки, все лепится друг на друга и липнет к зрачку, у подножия лестницы две длинных тени лежат перпендикулярно, внахлест, по-христиански, не то прицельно. В перекрестии девочки покупают венки из белых цветов, уже внутри набирают воды из фонтанчика в маленькие чашки, веночки надевают на шею Будде, воду выливают ему на голову и о чем-то просят, одна на костылях, и вряд ли за себя просила, – скорее, чтобы мама, скажем, не болела, чтобы брата не обижали в школе. Мальчики тоже просят, но реже, насколько я могу судить. Женщины, ясное дело, везде религиознее, – впрочем, здесь еще мальчика от девочки пойдти отличи, все в юбках, – ну ладно, привираю, можно отличить, но не без некоторых сомнений. На стене барельеф морской свинки, одно из двенадцати животных, которые что-то там. На ступенях сидят на манер цыган обезьянки – ищут друг у друга, баюкают детей, покрикивают, живут, словом, табором, и им охотно золотят лапку чипсами и фисташками. Они за это на тебя пронзительно смотрят несколько секунд. За кошелек можно не опасаться. Когда они вот так, стадом, сразу понимаешь, что родня, общие гены. У Мити был мальчик, разводивший дома в Москве лемуру, – медленные, говорит, и ночью

ползают по занавескам, ручки у них человеческие. *Мендель в банке и Дарвин с костями макак.*

Гестхаус, кондиционер, комната без окон, и кондиционер работает так хорошо, что я зверею, потому что первые полчаса на улице провожу с запотевшим объективом, а поделаться с этим ничего нельзя. Но, по крайней мере, мягко стелят, спать не жестко. Комната без окон – сильное переживание, изолятор тоски. По коридорам тенью слоняется сын хозяина, вечно под чем-то, – говорят, этими их черутами можно так накуриться, что все калифорнийские травяные плантации покажутся с зеленую овчинку, но вероятнее, все-таки, что опий, красная тряпка перед мордой международного сообщества. Борьба с наркотиками тут устроена так, чтобы ее все видели и никто не мог заподозрить здешних генералов в потакании и посматривании сквозь пальцы. В частности, у дорог стоят большие знаки на английском: DRUG TRAFFICING CAN RESULT IN SERIOUS PENALTIES, экспортный, понимаешь, вариант. Как если бы в Москве антитабачные кампании проводились на финском, примерно столько же пользы. Это я понимаю, что рассчитано на нас, приезжих уродов, и можно бы даже попробовать, но опий – такое дело... Нехорошее. Не рискну. И вообще я веду аскетический образ жизни, у меня с утра ни маковой росинки во рту, между прочим, надо спуститься вниз, съесть чего. Тут мне вчера в столовой какой-то чех на плохом английском рассказывал про третью ногу, – что родился он с третьей ногой, вот здесь прямо, на бедре (тычет в район кармана), и родители возили его в Париж (почему в Париж-то?) ее ампутировать, когда ему был что-то годик, – «I still have it in my home, very cool!» Спросил, доводилось ли мне фотографировать людей с третьей ногой, я сказал, что нет, не доводилось, он положил руку мне на плечо и сказал: «You are nice man, my uncle to say: hate Russian, they shoot Praga, but you are nice man, I would let you photo my leg! My – how you say? – wife of uncle was Russian, they fight about it for three days. But if I still have that leg on me, I would let you shoot!» Предложение, от которого я не смог бы отказаться.

Как только узнал, что тут нет мороженого, начал хотеть мороженого. Буду хотеть до Москвы, в аэропорту расхочу, знаем мы, как это устроено.

Что тебе еще сказать? Дальше я буду двигаться так далеко на север, как только возможно – сначала Мандалай, ночь на поезде, выеду завтра. Кирилл предупредил, что вагон люкс – это сидячка с выбитыми окнами, мыши и тараканы, когда он сам ехал, по вагону ходил одноглазый пес, умевший вставать на задние ноги – что-то с темой ног и калек у меня сегодня, извини. На север, да; на самый север тут и не попадешь, – мятежные провинции, партизаны, наркотики, вялая, но перманентная война с правительственными войсками, только и пробраться, если в кузове грузовика, притворившись рулоном брезента. С одной стороны, это, конечно, шанс на «Пулицер», с другой – шанс, что посмертно. Я же человек слабый, пугливый, и еду в силу этого не на север – который, как мы знаем, вовсе не здесь, но в полярном круге, – а так, севернее того места, где я сейчас, и буду становиться западнее от того места, где ты сейчас, north and south, east and west of my life. А если кружить меж добром и злом, Левиафан разевает пасть.

Цвета тут такие, что чувство, будто сам покрыт пылью, золотой и бурой. Тень от меня охряная, воздух вокруг меня бежевый, облака надо мной цвета слоновой кости, шоколадными делаются мои зрачки, бронзовеет кожа, от бетеля краснеют зубы, и что бы я делал без Wrigley's. Черный кофе мне только снится, зато чай заваривают до черноты, чайник – quarter приблизительно. Здесь нет монет – их давно заглотила инфляция, но зато где бы еще я с тех самых лет увидел купюры с пятиконечной звездой. Да, кстати. Один из генералов – с чудесным именем Не Вин – большой поклонник нумерологии. Считается, что его числа – 3 и 9. Поэтому есть, немного, но есть, купюры с номиналом 45 и 90.

Рангун зелёный, совсем не такой, как обычно в Азии. После Куала-Лумпура кажется просто парком, посреди города – и в самом деле парк с прудом, в котором, как гласит табличка, бирманские воины омывали свои мечи от крови колонизаторов во время англо-бирманских войн. Слово «Бирма», впрочем, запрещено, его как бы нет. Вообще, я словно провалился в наше детство, только сказанное на незнакомом языке. По государственному телевидению – исключительно новости и патриотические песни, в газете – призывы генералов к населению: «Неустанно крепить оборону нашей Родины... Развивать сельское хозяйство как основу...». Не представляю себе, каким образом в совершенно другой стране, в одном из самых глухих углов мира, всё это приняло точно такую же форму, до смешных мелочей. Но ничего не сравнится с девочками, играющими в резиночку. Ничего. Жаль, я не понимаю языка, уверен, что и школьные поговорки у них такие же.

Купил Андрею монет и бумажных денег, для коллекции. Японские оккупационные рупии, с печатями военной администрации и гонконгские доллары, очень странная вещь. На одну сторону смотришь – вроде, доллары как доллары, ну, понятно, что не американские, а какие-то, но всё равно. А переворачиваешь – там по-китайски. Меня учили делать такие игрушки в Университете – наливаешь в пробирку раствор медного купороса в воде и чего-то зелёного в чём-то органическом, – запаиваешь, а потом встряхиваешь – встряхиваешь, встряхиваешь, а они не смешиваются, только на время. Единственная, видимо, полезная вещь, которую я вынес из нашего курса химии. Ну не полезная, ладно, забавная. Надеюсь, ему понравится. Ну, или, по крайней мере, произведёт впечатление на одноклассников. У них такого точно нет (тут должен быть смайлик).

Что я скажу тебе, если просто? Просто: я думаю, что вот же, сколько лет. И кто бы мог подумать. И кто бы знал. И в частности, что мир устроен так: в нем есть объекты, много разных – люди, обезьянки, мороженое, кошки, третьи ноги, десятилетние мальчики с патронташами, призрак Ширли Темпл, твоя заколка, потеющий объектив, маки, лотосы, тополя, – и из всего этого лучшее – ты. Не лучшая из моих знакомых, из женщин вообще, из всех людей, кошек, лотосов, обезьянок, но из всех объектов божьего мира, и ты извини, что я пишу тебе это, но я приучил себя с некоторого момента, что эти вещи надо говорить, обязательно, сразу, не откладывая ни на день. Потому что. Потому что времени мало, и когда бог создавал его, он создал его недостаточно.

Все хорошо, в общем. Хорошо, когда тепло, хорошо, что вот вечереет, жара спадает, хорошо, что я говорю с тобой, как ни с кем, и теми же фразами, тем же голосом, словом, всё хорошо, и если бы ты была рядом, я бы нашел для тебя мороженое, хоть где. Спокойной ночи, всё хорошо. *Хорошо, что кончается ночь, приближается день. Сохрани мою тень.*

13 февраля 1984 года

«На центральном телеграфе стоят разменные автоматы, которые меняют монету в 20 копеек на 4 монеты: 15, 2, 2 и 1. 15 меняет на 10, 2, 2 и 1, 10 на 3, 3, 2 и 2. Петя разменял один рубль двадцать пять копеек серебром на медь. Вася, посмотрев на результат, сказал: «Я точно знаю, какие у тебя были монеты!» – и назвал их. Назовите и вы.»

Что было у бедного Васи в голове? Скорее всего, ну, просто шизофреник – фиксация на деталях, навязчивая привычка считать и подсчитывать, бедное дитя. Но, видимо, ещё что-то, – представляется небогатая семья с привычкой тщательно подсчитывать мелочь, аденоидный приоткрытый рот, старший брат, который наверняка уже выпивает, – через ряд, слева, сидел Алеша Полушкин, бедное гениальное дитя с этим самым аденоидным ртом, единственный знакомый мне ребёнок, у которого в доме не было телевизора. Мать-одиночка, дворничиха нашей школы, старшенький в колонии, а младшенький неведомым чудом с трех лет все что-то подсчитывал, подсчитывал, – и вот оказался за две парты от меня на математической олимпиаде для пятых классов, – сидит, поблескивая отвисшей губой, ужасным почерком марает черновик. Мне, конечно, не видно, что именно он там выписывает, какие расставляет гениальные закорючки, потому что мы рассажены строго в затылок друг другу, через ряд, – мне виден блеск губы и сальные волосики, – но не пронумерованные листы олимпиадной работы. Это справа. А слева окно и полосатое небо, которое я помню до сих пор, потому что две полосы то срастались, то расходились снова и срастались в других точках с другими полосами, – такой рисунок мне после доводилось видеть только на срезе свежего бекона, уложенного розочкой под гигиеничной пластиковой крышкой в одном «7-11», отстоящем от этого дня на почти на двадцать лет.

Что же было в голове у бедного Пети? Зачем ему такая огромная сумма мелочью – полная пригоршня, нет, больше, что-то наверняка упало на асфальт, а тратить-то всю эту медь было особо и не на что, – разве на телефоны-автоматы, а еще на автоматы с газированной водой, 3 копейки с сиропом, одна копейка – просто так, а если сильно шиковать, то надо бросить три копейки, а потом, когда желтое сольется и пойдет белое, быстро выдернуть стакан, дать воде стечь и снова бросить три копейки, подставив стакан на место – «Double sugar, please», – “One dollar ten. Do you have a dime, sir”? – “I’ve two nickels, okay” ? Родители Машки разрешали ей пить из автоматов только при условии, что стаканчик она будет носить с собой – раскладной, состоящий из нескольких пластмассовых колечек, навсегда оставшийся у меня в голове в качестве чуда инженерной мысли. Ее напиток обходился мне в девять копеек – не три монеты по две копейки плюс три по одной и не девять по одной, а обязательно три по три – мы, кажется, единственная нация, у которой была монета в три копейки, «алтын», – а пятикопеечные в автомат не лезли.

Что в голове у Маши? Маша сидит прямо передо мной, я видел, как во время раздачи листов у нее дрожали руки – она поправляла хвост на затылке, каким-то особым способом перекручивала два ярких шарика на резиночке, ни одна заколка не удерживала ее копну, а когда она распускала хвост, несколько волосков всегда выдирались, Маша морщилась, а сейчас я не вижу ее лица, но она как-то странно ерзает, поводит плечами, как будто от долгого корпения над проблемами Пети и Васи у нее разболелась спина, пару раз она осторожно заводит руку назад и водит рукой у себя между лопаток. Если бы я не боялся окрика математички, строго следящей за тем, чтобы не было никаких контактов в ходе этого соревнования между будущими молодыми учеными, надеждой страны, я бы осторожно почесал ей спину карандашом, – но вместо этого я возвращаюсь к Пете и Васе. Петя стоит с полными горстями монет, он раздражен, а Вася, безумно поблескивая уродливыми очками в пластмассовой грязно-розовой оправе, роется в медных двушках и

пятаках, алхимически синтезированных разменным автоматом из серебряных гривенников и двугривенных.

Впрочем, там не могло быть двугривенных, то есть двадцатикопеечных монет, вдруг понимаю я, да и пятнадцатикопеечных – не больше одной, потому что двадцать и десять размениваются точно так же, как две по пятнадцать, и бедный Вася, не имея возможности точно определить набор исходных монет у Пети, провалился бы в психотический срыв, который проходил у него так: он начинал раскачиваться и поскуливать, а потом приходил в ярость, и ярость эта была направлена себя – один раз я видел Алешу Полушкина, воткнувшего себе в руку грифель, когда не сложилась какая-то задачка, – как выяснилось впоследствии, воспроизведённая в наших учебниках с опечаткой.

Что у Пети в ладонях? У Пети в ладонях должна была быть одна монета в пятнадцать копеек, потому что из гривенников и двугривенных не сложились бы рупь двадцать пять. Рупь двадцать пять минус пятнадцать дает нам рупь десять, сто десять копеек. Сто десять не может состоять из двугривенных, – а значит, это монетки по десять копеек, одиннадцать штук. «Это будет рубль десять, у Вас найдется гривенник?» – «Два пятак, ничего?» – Вася сияет. Петя пытается понять, что было у него в голове, когда он связался с этим отморозком. Я проверяю всю работу еще и еще раз: задача про самолет, задача про два шарика, маленькая, но верткая задача про девочку, у которой день рождения в середине весны, – и про ее брата, у которого день рождения двадцать пятого декабря, задача про нестреляющий пистолет – я проверяю все по третьему разу, проверяю собственное имя, класс, номер школы, написанные вверху тетради, проверяю порядок листов и подчеркиваю красным слова «Задача», «Решение», «Ответ» – и все равно сдаю работу первым, меня выпускают, я наваливаю на подоконник в коридоре, я слишком взвинчен, чтобы чувствовать себя усталым, я хочу в туалет, но еще какое-то время стою и смотрю на полосатое небо, и вспоминаю, что кое-что забыл всё-таки: поставить дату. Я прихожу в ужас. Я не иду в туалет, а стою и жду, пока не появится кто-нибудь из учителей.

Постепенно выходят другие олимпиадники, кто-то в испарине, кто-то в слезах, кто-то ликует, предвкушая победу, а последней выходит Маша, и некоторое время мы стоим молча. Из моего сегодня я вижу эту картинку так: вот нынешний я стою у подоконника, и вот она, маленькая, со сбившимся набок хвостом, с портфелем, набитым специальными учебниками для спецкласса, с полными глазами слез ждёт, когда я обниму ее и прижму к себе, и скажу: «Маша, ну это же все выеденного яйца не стоит, я вообще против олимпиад, мне кажется, это совершенно лишнее. В науке не должно быть соревновательности, а то академическая среда будет устроена, как советские учреждения, а это, Маша, омерзительно». Но там, в мои и её одиннадцать лет, я понимаю, что она чудовищно провалилась, и мне передается ее стыд, льётся, переползает красными пятнами с ее щек на мои, она неловко скрестила руки на груди, губы вздрагивают, Маша поворачивается ко мне спиной и у нее из-под подола вдруг вываливается крошечная пуговица. Я рад завести разговор и до неловкого громко восклицаю: «Это откуда?» – но Маша выхватывает у меня пуговицу и бежит к туалету, и я вдруг понимаю, почему она ерзала и что отвлекало ее всю олимпиаду, и что она пыталась поймать у себя на спине сквозь кусачую коричневую шерсть форменного платья, – и уже мой собственный стыд заликает мне щеки, а потом Маша возвращается и мы не говорим об олимпиаде еще неделю, до следующего понедельника. Ничего, ни слова.

В понедельник нам читают список победителей, он начинается с моего имени. Это значит, что меня ждет областная олимпиада, а потом республиканская – всесоюзных для таких маленьких, как мы, не устраивают. Но на перемене мне и Полушкину, номеру два,

почему-то не смекнувшему, как выяснилось, про одиннадцать по десять, велит остаться в классе, и полный высокий мужчина со странным женским лицом объясняет нам, что мы удостоены великой чести: нас берет к себе знаменитый интернат для одаренных детей. Считать атомы, грызть гранит науки, выше вздымать знамя нашей Родины. Полушкин дергает губой и сипло дышит, – все-таки яблоко от яблони, брат от брата, и это, конечно, не колония, но в той или иной мере... А меня заливают бешеной волной, у меня дрожит голос, когда я диктую домашний телефон и имена-отчества родителей, с которыми теперь «свяжутся и сообщат», и вылетаю в коридор, где Маша стоит у окна и наматывает резиночку с двумя шариками на палец, все туже и туже, пока палец не багровеет, и она разматывает ее со стоном, и я понимаю, что совершенно забыл про нее, что ей оставаться здесь, а мне отбывать в полное свершений будущее юного гения, – тут нужно остановиться.

Потому что впервые в жизни у меня во рту появляется кисло-горький вкус, которой сегодня я умею опознавать и которому все реже удается застать меня врасплох. Кислое – это вкус запланированной разлуки, застоявшегося и створожившегося настоящего, которое хочется сплюнуть, чтобы после прополоскать рот свежим, пузырящимся, сладким будущим. А горькое – это оскомина, набитая предшествующими разлуке незапланированными обстоятельствами, тем поворотом событий, после которого наши планы начинают оформляться все четче и четче, – и вот один уже вылетает из классной комнаты, не замечая, что рубашка выбилась из брюк, а портфель расстегнут и грозит просыпаться цветными карандашами, и другая виток за витком наматывает на палец резиночку для волос, шарики поблескивают дешевыми перламутровыми разводами, она смотрит на его лоб, на мелкие капли мальчишеского пота, а он кричит:

– Меня взяли в интернат!

А она говорит:

– Ну и подавись своим интернатом! – и он догоняет ее только у раздевалки, он в ярости, она должна была прыгать и скакать вместе с ним, чуть не впервые в жизни нарушая воплями школьную дисциплину, он так зол на неё, что сейчас готов уехать хоть к чертовой матери, лишь бы никогда не видеть этих посеревших от тоски веснушек, но он все равно догоняет ее, и она ждет слов, каких-то слов, таких, которые я сумел бы сказать сейчас, спустя все эти годы, но ему было одиннадцать лет, и он схватил ее за руку и сказал:

- Дай двушку!

Она не вырвалась, но несколько секунд молчала, а потом холодно сказала:

– У меня нет.

– А десять копеек?

– Тоже нет, – и он рванул к кому-то еще, но или не было ни у кого, или не хотели давать, и он помчался через улицу к телефону-автомату, надеясь выпросить монетку у прохожих и, наконец, осчастливить родителей сообщением, что их сын оказался избранным среди избранных, надеждой страны, – уже в вестибюле услышал за спиной топот и «Подожди!». Маша схватила его за рюкзак, едва не упала на скользком кафеле, протянула три монетки, а дальше они бежали вместе, и она держала его за руку, когда он дозванивался до коммутатора в мамином НИИ, и когда он выпалил маме благую весть, и потом, когда он менялся в лице, а мама в трубке кричала, что он сошел с ума и может забыть эти глупости навсегда, рехнулся, какой интернат, она сейчас позвонит в школу, и

вообще немедленно домой, с ума сошел, он что думает, они с папой отпускают ребенка в интернат, он вообще представляет себе, что говорит? Маша отпустила его руку, только когда они вышли из телефонной будки, на асфальт со звоном упали две монетки – гривенник и бесполезный алтын, Маша посмотрела на свою ладонь, а он на свою, – на каждой отпечатались два ровных круга, один побольше, другой поменьше, и контуры их постепенно розовели и таяли, как таяла перспектива запланированного расставания, как таял кислый и горький вкус у меня во рту.

Все гривенники и пятаки моих дней, все, до единого.

Северная Атлантика, 10.220 м над уровнем моря

- Look, Steve, this is a blend. – Стив с любопытством заглядывает в объектив. – Do you know, what blend is for?
 - No.
 - Okay. Can you see what is written there on the stewardess's badge?
 - No.
 - Now narrow your lids and look again.
 - A – I – R – F – R – A – N – C – E. It's Air France!
 - Okay. Now, lens no eyelids...
 - And blend is like an eyelid, right?
 - Absolutely. When I narrow it, a large piece of image is in focus. For example from here to the end of the plane. And when it's wide open, only our walrus man is.
 - Cool! And what about my camera? – Он посмотрел на свою кодаковскую мыльницу, – точно такую я подарил Андрею на прошлый Новый Год: все его фотографии имели что-то общее. Я не сразу сообразил, что именно, – на них было много пустого пространства сверху. Я долго объяснял ему, что нужно стараться, чтобы те, кого он снимает, были в центре, а потом вдруг сообразил, что на фотографиях были, в основном, взрослые, сильно выше его, и оставил ребёнка в покое. Это проблема не с чувством композиции, – думал я, – это такая проблема, которая с возрастом проходит, – думал, глядя на карандашные отметки у двери в его комнату, – проходит, проходит, это вообще не проблема, когда на фотографиях много неба, чего это я вообще, чего?
 - Oh, you can't change blend here.
 - And what can I change?
 - Actually nothing. Such cameras do everything themselves.
 - I don't want it to do everything itself! I want to be a real photographer.
 - Okay, you will be. Some day. But now you have to just train with this one.
- Джози бросает на меня благодарный взгляд.

Мингалазеди, Баган, Мьянма

Здравствуй.

Птиц не видать, но они слышны. Пять утра, почти прохладно, и мне видно все. То есть буквально все – ну, почти все, почти все храмы Багана, сколько их, больше двух тысяч, потому что это самая высокая площадка, я пришел фотографировать, потом будет плохой

свет, яркий, а сейчас все в каком-то прозрачном молоке, в нем облака плавают, как размокший корнфлекс. Как хорошо, всё-таки, что я выкроил себе эти две недели в Бирме за казённые деньги. С другой стороны, они сами виноваты. Дисциплинированность малайзиских властей оказалась выше всяких похвал. Я думал, они мне до второго пришествия будут разрешение на съёмки делать – а нет. Сто долларов – и вот мы уже на месте, бумаги выправлены, заправлены в планшеты космические карты.

Кто бы мог что подумать – в пять утра тут не только я, но еще и две девочки, лет по семнадцать, из той породы, которую один таксист в Москве назвал «сявочками». Говорит, сели на заднем сидении и целуются, такие, понимаешь, еще совсем сявочки, а ведут себя, как последние бляди, им наплевать, что тут человек машину ведет, смотрит в зеркало заднего вида. Сявочки такие: чирикают по-английски, одна совсем как из манга, желтенькая, пухлые губы и полукруглые глаза, и двигается она, знаешь, прыжочками, как воробей. А вторая розоватая и толстенькая, смотрит на первую влюбленными глазами, из тех подружек, которые будут полгода ходить следом и рыдать в подушку, когда у первой появится, наконец, мальчик, стоять под окнами, и вести себя неприлично, пока быстро тающий подростковый такт не закончится у первой совсем, она не выдержит, сорвется: «оставь меня в покое, отъебись». Но вот пока желтенькая смеется, розовенькая счастлива, что они делают тут в пять утра? – желтенькой, видно, захотелось поиграть в фотографа, кто рано встает, тому бог свет дает. Фотографируют они простенькой цифровой Минолтой, у меня такая в сумке, примеряться. Увидели мою камеру, жались и улыбались, потом попросили меня их сфотографировать – я согласился и, пока пытался построить кадр, испытал неловкость за выдвигающийся при взгляде на них объектив. Потом они попросили меня снять их при помощи их собственной мыльницы, и у меня сразу испортилось настроение.

Это поразительное дело, но я не могу снимать людей. Нет, могу, конечно – вот вчера я снимал монахов у Ананда Пахто, плотная толпа, коричневые бритые головы и оранжевая ткань, среди всего этого поблескивают очки, праздник полной луны или что-то в этом роде, не помню, редактор пусть следит. Но они для меня были, как бы сказать – не вполне люди. То есть люди, но объекты, non-persons, такие явления, вроде обезьянок и этих чудовищных Будд, в буквальном смысле слова – лежебоких. А двух сявочек, или застолье, скажем, или свадьбу в белом – это я не могу, ну не могу, не поднимается рука. Я тебе больше того скажу: я и смотреть на эти фотографии не могу, не умею. У меня поэтому дурная слава среди коллег – я редко хожу на выставки, если не пейзаж или не вот как у меня, ну или уж постановочная, которую я совсем терпеть не могу. Но только не люди, ради всего святого. Хотя профессиональное фото еще куда ни шло, оно часто так устроено, как у меня с монахами, а вот любительское – никак.

Помню, рассказывала девушка Алёна, моя бывшая сотрудница, нынче переползшая в «Гео» – «пришла к товарищу тут домой, а Леша мой с ним в один садик ходил, их развело как-то, а потом они опять попали в одну компанию – ну, двенадцать, ну, тринадцать лет назад, молодые все были, а этот Саня всегда с фотиком ходил. И он мне говорит: о, давай я тебе покажу Лешкину фотографию в пять лет! Ну давай, – говорю. И он мне показывает. Ты понимаешь, – говорит Алёна, – я смотрю на нее и чувствую, что я сейчас заплачу. Не потому, что он там хорошенький, или маленький, или еще что-нибудь, а потому что я его вижу – в смысле, нынешнего, вот мужчину, которого я люблю, я в этом мальчике вижу. И мало того, я смотрю и понимаю, что я и наоборот, в Лешке, всегда видела этого ребенка, вот этого самого, я с ним не знакомлюсь сейчас по фотографии, с этим зайчиком маленьким – я его узнаю. Смотрю на него, а у меня начинают слезы литься, и Сашка так меня начинает теребить и говорит: Алён, ты чего, ты чего? А я просто

стою и понимаю, что это вот этот пятилетний Лешенька – это мой ребенок, а я его мама, что это единственный ребенок, который у меня есть.

Она пока мне это рассказывала, я все время хотел ей сказать, что вообще ненавижу детские фотографии тех, кого люблю, потому что для меня человек на любительском фото всегда мертвый. Это же правда, на фотографии всегда – мертвый человек, уже через секунду его – того – нет. Я тут могу дать длинное банальное объяснение, но ты понимаешь, я думаю. Но когда она сказала: «Мой единственный ребенок», я, понятно, уже не мог ей ответить: «Ты что, он же мертвый». Но он был мертвый, я знаю.

И даже не люди, – а как тебе объяснить? – ситуация мертвая, мы видим всегда посмертную маску момента. Вот в детстве у меня была «Смена 8М», я фотографировал всё и всех, и взрослые начинали отпускать шутки, когда я подходил с камерой, а потом смиренно сидели с положенными к случаю улыбками, я же по-взрослому и очень серьезно предупреждал их о приближении птички. Я вытащил эти снимки, когда мы переезжали на Коштыянца, сверху лежала фотография с дня рождения отца, состоявшегося четырнадцать лет назад, я стоял над ней минут десять а потом взял ножницы за одно из лезвий и крестиками пометил четыре лица из двенадцати. А о двух я даже не знал, требуют они крестика или нет.

Стех пор я не могу избавиться от привычки на каждой фотографии, пусть даже на поляроидной, сделанной двадцать секунд назад, выискивать тех, на ком придется вырезать крестики через пять, десять, ну четырнадцать лет. Каждый раз мне делается так больно, как будто я сжимаю лезвие ножниц слишком сильно. Не хочу я видеть эти фотографии, не могу, особенно потому, что всегда зафиксированы на них идеализированные моменты, такие, когда все вместе, и бодры, и веселы, и что-нибудь прекрасное происходит – или все готовы делать вид, что происходит. А я всегда помню, что через час или два упадет занавес, все вернутся из этого именинного, новогоднего, рождественского великолепия в свое серое, сырое, каждодневное, а некоторые и падения занавеса не дождутся, две-три рюмки и неуместные слезы на кухне, «Анечка, прости что я порчу тебе праздник», – не могу я.

И не только люди – ситуация, я же говорю – посмертная маска. Вот когда начали уезжать – туда, к вам, – начали слать фотографии, и все, понятно, показывали красивую американскую жизнь – помню, как Милка, мамина подруга, сидела в неестественной позе, чтобы хорошо было видно кулончик, а на самом деле было видно совсем не ее, а тетю Наташу, они тут жили через два дома друг от друга, а познакомились только там, в Сан-Франциско. И вот на этой фотографии Милка сидела в самом центре, вывернувшись (муж ее, Лева, стоял с камерой у торца стола, и маленькие красные цифры – дата – внизу кадра тоже были из той, американской, эмигрантской «роскоши»). Но все равно ее не было видно, хотя фотография была резкой, четкой, – а было видно тетю Наташу, стоявшую с левого края, почти боком к камере, и смотревшую мимо кадра, и я не понимал тогда, почему, и только потом, когда уже занялся нынешним своим ремеслом всерьез и надолго, узнал сам, из собственного опыта, который, кстати, предпочел бы не помнить так хорошо, что на снимках в центре оказывается тот, кого любит камера, даже если он оказывается за кадром – и значит, мамины подозрения насчет Наташи и Левы и неслучайности этого удивительного знакомства бывших соседей в центре города Сан-Франциско, подтвердились. Но, возвращаясь назад, – в какой-то день мама достала из еще чьего-то письма еще какие-то фотографии, а там все за столом, и перед ними такие цветные бокальчики. Я представил себе, что вот аппарат щелкнул – и тут кто-то говорит: «Ну теперь мне, наконец, можно в туалет?» – встает, задевает скатерть, стаканчик летит вниз, обливает его штаны Пепси-колой, падает, бьется, – и все, понимаешь, ситуация, которая

была секунду назад, которая осталась вот в этом кадре – она не-вос-пол-ни-ма, хотя все еще – здесь, все еще – живо, но стаканчик... и все. И все.

Это я не знаю, чего разошелся, аж пальцы болят, извини меня, вот и слявочки убежали. Но это у меня, понимаешь, тема. И профессиональная, и так, вообще. Потому что у меня как в «Гарри Поттере», все эти бытовые фотографии, – они не картинка, и даже не движущаяся картинка, нет, а иначе: срез момента. Мне кажется, что в них остается и вкус, и запах, и какие-то тактильные вещи – такие же крошечные, такие же сиюсекундные, как визуальный образ, но мы не умеем их видеть, и иногда, скажу тебе честно, я даже думаю, что, может быть, тот лишний удар сердца, который мы получаем, когда смотрим на них, десяти-, двадцати-, тридцатилетней давности – это не отсюда, но оттуда, тот удар сердца фотографа, на который приходится кадр, и я искренне думаю иногда, что убереги меня, конечно, Господи, от всех ударов, но особенно вот от этого. Поэтому я фотограф зданий и статуй, облаков, закатов и прочих неживых предметов, естественной среды обитания – мертворожденной, от рождения мертвой.

Ужас какой, сколько я накатал, прости меня, видно, не выспался, и слявочки эти с их мильницей, и вообще. Я, между тем, работать из-за света могу только рано утром и на закате, а все остальное время могу только думать и бродить. И ты тут, насколько это возможно при том, что ты там, и я все время говорю с тобой, все время, вчера в чайной на стене туалета обнаружил надпись на английском: SHE CAN HEAR YOU, – can you?

Извини меня, мне самому стыдно за свою болтливость. Я хотел бы сказать: «целую», хотел бы сказать: «обнимаю», говорю: «не болей, не грусти, не беспокойся».

10 марта 1985

Никогда не привлекал меня торт «Черный лес», эклеры я тоже не жалую, не люблю хруст беже на зубах, приторная вишенка, венчающая приторный кремовый завиток на «Баварии», кажется мне пластмассовой, «Тропический флэш» – манго-бисквит, мусс манго, маракуйя, дынное желе – претенциозным, двадцатидолларовые изыски «Особой десертной коллекции» в «Кофемании» (*«Сокровища Клеопатры: лимонный крем маскарпоне заворачивается в рулетики из ломтиков манго под тончайшей сеточкой из фисташковой карамели, подается с фруктовым супом «Мизуми» и теплым фисташковым сиропом на основе виски»*) – чем-то из области архитектуры, покалывающей небо шпильями и сковывающей основательностью собственных форм. Шоколадки вязнут в зубах, молочные коктейли плохо тянутся через трубочку, – я не люблю сладкое, короче говоря, не люблю «Три шоколада» и «Брызги шампанского», и даже со скромными бискотти мне лень возиться. И вообще торжество для меня, вопреки Джерому и Лекокку, Стауту и Гоголю, состоит не из еды, – но существуют два магических блюда: выставленные на стол, они способны вызвать у меня ощущение праздника, знаменательной даты, да хоть чего, – салат «Оливье», торт «Наполеон». Для моего поколения это – сигнал, у нас выработан условный рефлекс, как у подопытной собачки нашего соотечественника Павлова, и особые железы начинают выделять в нашу кровь особый гормон – гормон приподнятого настроения. В те годы в любом интеллигентном доме моей страны предновогодняя ночь, вечер дня рождения, семейный обед Девятого Мая строились вокруг двух центральных блюд: салат «Оливье», торт «Наполеон», – двух осколков растоптанной дворянской франкофилии. Ингредиенты начинали доставать за месяц. А еще за месяц в некоторых домах – и в моем, и в моем, – начинали доставать ингредиенты для фаршированной рыбы, для неназываемой «гефилте-фиш». И до сих пор я не научился просто так, в качестве послеобеденного десерта, покупать себе нехитрый, дешевенький «Наполеон», по вкусу ничем не уступающий многослойным творениям моих мамы и бабушки, и до сих пор я ловлю себя на том, что баночку с «Оливье» – а вернее, с современным его заменителем, салатом «Столичный» – несу домой только тогда, когда ощущаю приближение простуды или иного, хуже поддающегося лечению кома в груди, – скажем, март, скажем, мокро, холодно, все еще рано темнеет, камера с утра мигает и щурится, полусухое или полусладкое, красная рыба, салат «Оливье» – будем лечиться, значит, будем поправляться. «I'm concerned about my son eating too many sweets, not just because it's bad for his teeth, but why does he need to comfort himself all the time, what's bothering him?» – писала Долорес, я ее никогда не видел, откликнулась на мое объявление на PenPal.com, тридцать шесть лет, двое детей, муж – авиационный инженер, штат Флорида, персиковое дерево, апельсиновое дерево, год романа по переписке, all those tender words, “kisses, kisses, kisses”. Love me tender, – писала Долорес, – love me sweet, и мне было сладко получать ее письма, по ее просьбе я взял у мамы рецепт «Наполеона», она испекла его в мой день рождения – во Флориде, за четыре с половиной тысячи километров от меня. “Little Lily loved it, but Jonathan said it was too soft, he's more about Mars and stuff, so please forgive him. He would love you, if”. Я редко плачу, могу пересчитать по пальцам. В основном – в кино.

Что было на том столе? Я помню прекрасно в силу некоторых обстоятельств, но ещё лучше я помню, чего не было: салата «Оливье», торта «Наполеон». Безымянная гефилте-фиш не могла сюда заплывать – беленькая Света и ее беленькая мама, а также бело-розовый, похожий на нежный ломоть бекона папа ничего еврейского в своем доме не имели и иметь не могли. Наоборот – в их доме было много немецкого (хотя тогда слова «немецкое» и «еврейское» еще не были для меня антонимами, и я не чувствовал этого «наоборот»), – и не просто ГДРовские полки, не просто советско-германским «совместным предприятием» выпущенные близнецы-торшеры, а настоящие немецкие вещи, буржуйские, привезенные

из ФРГ, где Светкин папа, фармацевт, член партии, осуществлял тонкую неафишируемую кооперацию между СЭВ и ЕЭС в составе странной организации под названием UNIDO, – отдавая девяносто процентов неплохой даже по европейским меркам валютной зарплаты родному государству. Но и оставшихся десяти процентов хватало на невиданных кукол с длинными локонами и подвижными суставами, на аляповатые, но тогда казавшиеся роскошными настенные керамические тарелки с видами Вены и Кёльна, и на другие тарелки, обеденные, с тонким синим рисунком. «Немецкими» же Светкина мама называла привезенную из Бонна китайскую скатерть с драконами, японский веер над дверью в гостиной, польский плед на диване и даже собственную норковую шубу – сделанную, видимо, в Сибири, но всё-таки купленную в Германии. Они вернулись всего год назад, Светка была завораживающе похожа на своих заграничных кукол – вестфальское золото тугих кос, саксонский фарфор кожи, рейнская зелень зрачков и баварские коричневые веснушки, почему-то не на носу, а на скулах – щепотка тут, горстка там. Я смотрел, как эти веснушки постепенно темнеют по мере того, как Светка преодолевает смущение перед первыми гостями на своем первом московском дне рождения, начинает вертеться и хохотать, – в какой-то момент она вскочила со стула, я, сидевший рядом с ней, изумленно растворяющийся в ее простоватой, здоровой двенадцатилетней красоте, инстинктивно дернулся следом – и мой бокал грохнулся на пол, забрызгав праздничной «Пепси-колой» ее «левисы» – те самые.

Весь этот день, объявленный «днем всенародной скорби», прошел под знаком Светкиных «левисов». О смерти Черненко радио сказало накануне, через сутки после того, как Светка огласила список приглашенных – десять человек, ровно столько помещалось за их немецкий стол. Всем нам Светка выдавала аккуратную бумажечку – телефон, адрес – а потом делала шаг вперед и говорила тихо и кокетливо, голосом, каким самые обольстительные шпионки поверяют самые страшные военные тайны: «Папа подарил мне «левисы». Приглашенный замирал, Светка разворачивалась и уходила, а приглашенный мог поклясться, что слышал шуршание плотного синего хлопка в вялом шорохе ее коричневой школьной формы. Кончился последний урок, мы с Машей дошли до калитки, она сделала два шага по аллее, но я сказал: «Давай подождем Светку», – и она остановилась и стала смотреть на ледяную корку, покрывшую ветви тополей, а я смотрел на калитку, и так мы стояли и смотрели, пока не появилась Светка в немецкой ярко-розовой куртке. Маша пошла вперед, все еще глядя вверх, а мы со Светкой пошли следом, глядя себе под ноги. Мы теперь почти всегда ждали Светку, и почти всегда Маша шла впереди, а мы сзади, а потом Светка сворачивала направо, а мы с Машей шли дальше, и говорили обо всем, как обычно, а больше ничего не изменилось.

Когда объявили про смерть Черненко, мама вздохнула. На всякий случай я позвонил Маше. Было воскресенье, и я питал слабую надежду, что из-за траура завтра можно будет не идти в школу. «Как завтра со школой?» – спросил я. «А как всегда,» – сказала Маша, – «Ты что, не знаешь? В траурной форме, без портфелей, нам расскажут, какой он был хороший, и отпустят по домам,» – тут я услышал на заднем плане возмущенный вскрик ее мамы: «Маша!» «Как всегда» могло стоить Машину папе карьеры – ну, ладно, это я утрирую и привираю, но все-таки нельзя же ставить, трагическое событие, потерю вождя всего прогрессивного человечества в ряд с чем бы то ни было – пусть даже и с другими такими же потерями. Престарелые генсеки умирали в холодное время года – ноябрь, февраль, март; Андропов протянул чуть больше года после Брежнева – на следующий день мы ходили в школу в «траурной форме» – как обычно плюс черные повязки на руках, – – и без портфелей, два урока нам рассказывали про то, какой он был хороший, а потом распустили по домам. Еще год с небольшим – и я снова звоню Маше, и Маша говорит: «Как всегда», а Машина мама возмущается на заднем плане, хотя по городу на следующее утро уже ходит анекдот: похороны Черненко, человек пробирается на

Красную площадь, солдат загораживает ему дорогу: «У Вас есть пропуск?» – «А у меня абонемент!» Каким-то образом мы все знаем этот анекдот уже на следующее утро. Мы храним на лицах пристойное и скорбное выражение, но я смотрю влево, на Светку, и вижу, что она ерзает и елозит за партой, я и сам ерзаю, и еще восемь человек в нашем классе, кажется, нервничают и переживают. Изю всех десяти приглашенных только Маша сидит спокойно, как будто ее совсем не интересует, будем ли мы в этот трагический день сидеть за немецким столом, есть салат «Оливье» и торт «Наполеон», будут ли рядом со мной шуршать настоящие левисы – с жёлтой строчкой по боку, с маленькими бронзовыми заклепками, настоящие американские левисы. Мы возвращаемся из школы, моя мама звонит Машиной маме, Машина мама звонит маме Саши Алешковского, Сашина мама звонит Светкиной маме, потом еще кому-то, потом кто-то звонит моей маме – и через час решение принято: день рождения, несмотря на траур, состоится, но всё будет «поскромнее». На всякий случай мама гладит мне темно-синюю рубашку вместо уже поглаженной белой; на трамвайной остановке я встречаюсь с Машей, на ней синяя юбка и блузка в клеточку, похоже на пионерскую форму. Я несу мелкие мартовские тюльпаны, у Маши в руках бумажный пакет с плюшевым зайцем, который остаток своих дней проведет бледным замарашкой среди баварских красавиц.

Мы садимся за накрытый стол, но нет ни салата «Оливье», ни красной рыбы, ни языка и прочих деликатесов, распределяемых страной строго в соответствии с рангом – а Светкиному отцу полагалась, небось, и икра, и сервелат. Но чуткие Светкины родители решают, что в такой трагический день роскошь неуместна – нас ждут тарелки с очень аккуратными бутербродами, и только «Пепси» у нас не осмелились отобрать.

Минут пять или шесть мы жуем бутерброды в почти полной тишине, но постепенно все теряют чинность, шипит коричневая жидкость, Светка начинает вертеться на стуле и хихикать, Борщак, стесняясь собственного раннего каддыка, прочищает горло и говорит почти взрослый тост: «За здоровье именинницы!», пузырьки попадают в нос Леле Горбуше, она кашляет и хохочет, за ней начинает хохотать Светка, ее веснушки темнеют, я замороженно смотрю на них, на другом конце стола Маша ровными глотками пьет «Пепси», глядя прямо перед собой и совсем мимо нас, Светка вскакивает, я инстинктивно держась следом – и мой бокал грохается об пол, забрызгивая ее настоящие американские левисы праздничной «Пепси-Колой». Я ныряю под стол – то ли чтобы собрать осколки, то ли чтобы скрыться от позора, – и Светка ныряет за мной, а через секунду моя рука случайно ложится ей на колено. Я замираю – эта ткань немного напоминает брезент, но она глаже; рука лежит на ней плотно, как на ветровке, но ощущает воздух, как между рубчиками вельвета. Я смотрю на Светку, а Светка смотрит на меня. Потом она немного раздвигает колени, и я вижу аккуратный крест, образованный четырьмя надежными, плотными, двойными строчками цвета импортных лимонов. Я чувствую взмах крыльев у себя за спиной – это откинули скатерть, Светкина мама заглядывает под стол и спрашивает: «Никто не порезался?» – и мы одновременно вскакиваем, Светка – легко и без потерь, я же с размаху ударяюсь головой о край стола.

Потом я сижу на унитазе, не снимая своих вельветовых штанов, и ощупываю вздувающуюся на темени шишку. За стеной, на кухне, Светкины папа и мама позвякивают тарелками. «Горбачева назначили, слышишь?» – говорит папа. «Это что значит?» – спрашивает фарфоровый голос; на секунду тарелки умолкают. «А ничего не значит, Лена,» – говорит папа, – «Но ему, по крайней мере, не 70 лет. Домывай давай. Ты торт им дашь?» «Дам наверное,» – с сомнением отвечает Елена Владимировна, – «Но нехорошо всё это». Так я узнаю, что Наполеон все-таки присутствует с нами в тот день – тоскует и мёрзнет, как положено, под блюдом с надписью «Смоленск».

Я вспомню об этих самых джинсах в Глазго, на кухне у Светки и ее жены, маленькой китайки Джини. Они усыновили старшего, младшему, рождённому Джини от донора, меньше года, Светка держит его на руках. Старший с победными воплями терзает видеоприставку в гостиной. «Между прочим, Джина, – говорю я, – я был первым мужчиной, заглянувшим твоей жене между ног». Светка демонстрирует комический ужас, Джина – комическую ревность, я рассказываю про Американские Левисы, маленький Питер, названный в честь покойного Светкиного папы, изо всех сил дергает меня за волосы, и Светка говорит: слушай, а я что, говорила, что они американские? А какие? – искренне спрашиваю я, и Светка хохочет, ее веснушки темнеют и она говорит: «Нет, ну ты подумай, какие же мы были несчастные, задрипанные пижоны. Ну откуда американские, наверное же была индийская какая-нибудь дешёвка, но какие же мы были... какие же... Мне кто-то облил штанину Пепси или чем-то таким, так в краске выело пятна, ты можешь себе представить? Я до сих пор помню». Джина говорит, что Пепси ещё ладно, а вот если в Фанту положить зуб, то он растворится за две ночи, я отвечаю, что это все выдумки конкурентов. Питер начинает плакать, Джина идет за его бутылочкой, Светка агукает и хлопает ладонью по столу в поисках погремушки, я подхожу к окну и смотрю, как снаружи соседский мальчик лет двенадцати подстригает идеально подстриженную лужайку.

Северная Атлантика, 11.310 м над уровнем моря.

Я нагнулся к рюкзаку и посмотрел на бутылку. Оставалось чуть больше половины, человек с тросточкой всё куда-то шёл, Стиви задремал, Джози погрузилась в “Marie-Clair” (13 способов разнообразить свою сексуальную жизнь, способ первый – когда муж придёт с работы, встретьте его в расшитом серебром переднике от Giovanni&Bells на голое тело, способ тринадцатый – если ничего не помогло, он безнадежен, такая женщина как вы достойна настоящего мужчины, а не этого слизняка), нагрузившиеся самолётной едой пассажиры спят, укрывшись пледами, подушечка у одной из старушек сбилась набок.

Вот сейчас. Например, вот прямо сейчас. Я встаю, я поднимаю руку, одна фраза, пять секунд, жизнь никогда не будет прежней. И что? Что дальше? Что я должен требовать, о чём просить? Единственное, что мне нужно – всё равно невозможно, всё равно они не пойдут на это, будут предлагать деньги, промежуточные варианты, пообещают всё, что угодно, будут вести переговоры, – а я буду повторять одно и то же: сделайте всё, что они попросят. Всё, что угодно, всё. До последнего слова, это моё требование, мне ничего больше не нужно. Дайте им всё и дайте им уйти. Мне будут говорить: варианты. Будут говорить: парламентареры. Проявите добрую волю. Покажите нам, что мы можем на вас полагаться. Одумайтесь, в самолете дети.

Дети, да.

Салон начал вращаться у меня перед глазами, всё быстрее, я обмер, застыл, чтобы остановить его, грудная клетка на несколько секунд окостенела, голова стала очень тяжёлой, салон остановился. Морж справа шумно вздохнул во сне. По проходу проплыла монашка-кармелитка, совсем молоденькая, руки без маникюра, прошуршала. Я попытался прикрыть веки, но салон снова завертелся, и я мгновенно

открыл глаза. Самолётик на экране дёрнулся и повернулся на несколько градусов по часовой стрелке.

Ул. Коштоянца, Москва

Здравствуй.

Вот, я вернулся.

Надо бы тут написать тебе: «поездка моя прошла хорошо, был там-то, видел то-то, прости, что долго не тебе не писал – там, считай, вообще нет Интернета», – но в последний раз я писал тебе вчера утром, в блокнотик, из поразительной забегаловки, где в меню посреди обычного тамошнего всего обнаружилось peanut butter, которое подавали охлажденным до застывшего состояния – в морозилке, что ли, хранят, и интересно, сколько времени уже – пять лет? Восемь? – но я заказал, расковырял и съел. Дописал письмо к тебе.

Так что – со вчера – ну что? Вот я открыл мейл впервые за три недели: два письма от отца, истерическое письмо от Динки, на которое не буду отвечать, спам, спам, спам, рассылки. Одна такая: «Этот день в истории», я люблю сам жанр – бессмысленность собрания фактов, объединенных по принципу «1 из 365»; хотя астролог, наверное, рассудил бы иначе. У меня есть игра для самого себя – я пытаюсь иногда схлопнуть годы и представить себе, что все это происходит параллельно; или связывать события аналогиями, именами, последствиями, – занятие бессмысленное, но забавное иногда. Что мы имеем сегодня? Второе сентября. Что мы имеем второго сентября? 911 год (тут начинается магия чисел) – Князь Олег заключает мир с Византией и, скажем прямо, ставит на Руси крест – будем считать, что это Юг против Севера; в то время, как в 1864 Шерман берет Атланту – вот тебе Север против Юга. Стихии против людей: 1666 – Пожар в Лондоне разрушил 13,000 домов, 1954 – ураган Эдна убил 20 человек в Неваде. Гои против евреев: 1732 (не удержался, посчитал сумму цифр, посчитай и ты) – Папа Клемент XII возобновляет антииудейские законы в Риме, – а в 1944 в Аушвиц забирают Анну Франк. Про контроль и власть: родилась последняя королева Гавайев Лилиуокалани, ваш Конгресс основал Министерство финансов, Штаты официально признали независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Про символы: Академия оформляет копирайт на статуэтку «Оскар», приземляется Союз ТМ-24 (это я все пишу, чтобы не заканчивать письмо к тебе, ты понимаешь. Я уже скоро; но мне очень не хочется.) Но подлинная красота не там.

Подлинная красота вот: 1957 – Штаты проводят ядерные испытания в Неваде (о, да, это просто не день Невады), 1958 – Британия проводит ядерные испытания на Рождественских Островах, 1962 – СССР проводит ядерные испытания на Новой Земле, 1978 – СССР проводит ядерные испытания в Семипалатинске, 1981 – СССР проводит подземные ядерные испытания – ну, где-то под землей. Силой суммарного удара выбрасывает из колыбельки новорожденную принцессу Лилиуокалани, Папа Клемент заявляет, что все это происки евреев, Византия в ужасе торопится заключить мир со всеми варварами в округе, Шерман цепенеет у радиоаппарата – *адъютант, адъютант, зачем же мы воевали?* Трещина идет вдоль Балтийского побережья – откальваются и плывут Литва, Латвия и Эстония, ураган Эдна гонит ядерное облако в сторону Нью-Йорка, Калери, Корзун и Андре-Дез не могут приземлиться – из-за радиации сошли с ума приборы, паника, овчарки катаются по земле, Анна, шатаясь добирается до радиорубки, говорит: «Александр Юрьевич, вы слышите меня, там, на небе? Шерман, освободите частоту, ваш адъютант плачет в эфире, уведите его, наденьте серые мундиры, общевойсковые, резиновые, защитные. Александр Юрьевич, «Союз», «Союз», – говорит Аушвиц, не возвращайтесь, слышите, не возвращайтесь».

Извини, пожалуйста. Это я скажу тебе, чего меня так повело: я в гестхаусе ждал такси в аэропорт, сидел внизу с рюкзаком, и там лежали старые журналы – ну, скажем, годичной давности. Я взял Life, а там рецензия на новый альбом Taschen – All-American Ads of the 60s. Это серия у них – 30s, 40s, 50s – и вот добрались. А к рецензии, значит, иллюстрации, и среди них постер фильма The Last War. Вот журнал у меня, я его забрал, цитирую тебе: A most spectacular film depicting the horrors of a nuclear war that may befall us at any moment. Постер черно-белый, 1961 год, типичный западный кинопостер тех лет, имя компании незнакомое, но мало ли их тогда было. Внизу ядерный гриб, слева название большими буквами, а справа сверху текст. Что вот радио и телевидение нас предупреждают. И вообще какой ужас ожидает все человечество. И что сама жизнь на земле находится под угрозой гибели. То, это.

И я читаю, потому что читать больше нечего, и дохожу до третьего абзаца: «We the Japanese are in a better position than people of any other nation to make a film such as this.» И тут я понимаю, что у меня начинают течь слезы, ни вдоха, ни выдоха.

«Мама и нейтронная бомба». Помню, как кто-то где-то писал, что многие, мол, наши сегодняшние поэты из пиджачка Евгения Евтушенко не то что вышли – а так там и остались. Я не очень смыслю в поэтах, но сам я не вышел из «Мамы и нейтронной бомбы» ни-ку-да. И глупо как, что это я второй раз тебе уже про японцев пишу – а первый, соответственно, писал в прошлый понедельник по поводу человека с двумя бородами. Потом прочтешь.

Слушай. Сейчас я отправлю письмо, отсоединюсь, позвоню на работу, и скажу, чтобы на меня не рассчитывали в ближайшие два месяца. А потом позвоню моему агенту и скажу, что я рассчитываю на него в ближайшие двадцать минут. А это значит, что через двадцать минут у меня на руках будут даты билетов, и тогда я опять подсоединюсь и напишу тебе даты билетов. И я очень прошу тебя: не меняй планов, и вообще я же все понимаю, не изображаю из себя бедного Срулика или что я посижу в темноте, а действительно: я не хотел бы, ну, вырывать тебя из твоей жизни. Я тебя последний раз видел 24 августа в 18:45:42. Между тем все пожелтело в Москве, ветер, дождь. Волны с перехлестом, все изменится в округе. Собственно, меняется уже. У меня дома обнаружилась одна чашка с остатками твоего кофе, две твоих забытых сережки, одно окно, из которого ты смотрела на трубы, одна черная дыра, пустое место.»

6 ноября 1985

(СВЕТ МЕДЛЕННО ЗАГОРАЕТСЯ. БРИГАДА СТОИТ В РЯД, СЗАДИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТОИТ ХОР.)

(ХОР НАЧИНАЕТ ТИХО ПЕТЬ «НАД МИРНЫМ ВЬЕТНАМОМ ЛЕТИТ «ФАНТОМ»)

АНЦЕЛЕВИЧ (ШАГ ВПЕРЕД):

Мама,
я читаю сегодняшние газеты
сквозь прозрачных от голода детей Ленинграда,
пришедших на всемирную елку погибших детей.
Пискаревские высохшие ручонки
тянутся к желтым фонарикам
елочных мандаринов,
а когда срывают,

не знают, что с ними делать.

КОРОЛЕВА (ШАГ ВЛЕВО):

Дети Освенцима
с перекошенными синими личиками,
захлебываясь газом,
просят у деда-мороза с елки
стеклянный шарик,
внутри которого
хотя бы немножечко кислорода.

(ХОР ПОЕТ ГРОМЧЕ)

КОТОВА (ШАГ ВПРАВО):

Вырезанные из животов матерей
неродившиеся младенцы Сонгми
подползают
к рыдающему Серому Волку.
Красная Шапочка
пытается склеить кусочки
взорванных бомбами
детей Белфаста и Бейрута.

УСТИНОВ (ДВА ШАГА ВПРАВО):

Сальвадорские дети,
раздавленные карательным танком,
в ужасе отшатываются
от игрушечного.
Бесконечен хоровод погибших детей
вокруг их всемирной елки.

(ХОР ПОЕТ ГРОМЧЕ)

УСТИНОВА (ДВА ШАГА ВЛЕВО):

А если взорвется нейтронная бомба,
тогда вообще не будет детей:
останутся только детские сады,
где взвоят игрушечные мишки,
плюшевую грудь
раздирая пластмассовыми когтями до опилок,
и затрубят надувные слоны
запоздалую тревогу...

АНЦЕЛЕВИЧ:

Спасибо, Сэмюэл Козн
и прочие гуманисты,
за вашу новую "игрушку" -
не ту, которой играют дети,
а ту, которая играет детьми,
пока не останется ни одного ребенка...

(ХОР ПОЕТ ГРОМКО ВТОРОЙ КУПЛЕТ.

ДЕКЛАМАТОРЫ ОТСТУПАЮТ НАЗАД И СТАНОВЯТСЯ ШЕРЕНГОЙ ПЕРЕД ХОРОМ.

КОРОЛЕВА, КОТОВА, УСТИНОВА СКОРБНО СКЛОНЯЮТСЯ НА ОДНО КОЛЕНУ.

ВСЕ ПОЮТ ВМЕСТЕ.

СЛОВА ПЕСНИ НА СТРАНИЦЕ 3.

СВЕТ ГАСНЕТ, ПОТОМ МЕДЛЕННО ЗАГОРАЕТСЯ

– И тут, – говорит она, хватая меня за руку и дергая вперед, – мы с Мариком выходим вперед, взявшись за руки!

Я не дергаюсь, стою, прочно упершись ногами в полированный паркет классной комнаты, и Светку по инерции разворачивает ко мне. Я смотрю на нее исподлобья, она приоткрывает рот, но я все равно никуда не дергаюсь, стою на месте и тихо говорю:

– Нет, не взявшись за руки.

Все молчат. Светка глубоко вздыхает, и я вижу, как у нее краснеет кончик носа. Дрожащим голосом она говорит:

– Но взявшись за руки будет лучше!

Ну уж нет, я не буду держаться с ней за руки, это я твердо решил, бесповоротно. Концовка там такая, на самом деле: мы со Светкой действительно выходим вперед (только ни про какое «за руки» в сценарии не написано), и декламируем кусок из поэмы, которую я знаю наизусть, целиком, и от которой у меня даже после ста наших репетиций идут мурашки по коже и сводит скулы:

...Слушайте!

Это мы

говорим.

Мертвые.

Мы.

Слушайте!

Это мы

говорим.

Оттуда.

Из тьмы.

Слушайте!

Распахните глаза.

И дальше, - и в этот момент мы уже совсем не играем, по крайней мере, я, и поэтому получается по-настоящему страшно:

СВЕТА (ПОДНИМАЯ ПРАВЫЙ КУЛАК):

Слушайте до конца.

Это мы говорим.

Мертвые.

Стучимся

в ваши сердца.

Не пугайтесь!

Однажды мы вас потревожим во сне.

Над полями
свои голоса пронесем
в тишине.

Я (ПОДНИМАЯ ЛЕВЫЙ КУЛАК):

Мы забыли,
как пахнут цветы.

Как шумят тополя.

Мы и землю забыли.

Какой она стала,
земля?

Как там птицы?

Поют на земле

ХОР, ГЛУХО:

Без нас?

СВЕТА:

Как черешни?

Цветут на земле

ХОР, ГЛУХО:

без нас?

Я:

Как светлеет река?

И летят облака

над нами?

ХОР, ГЛУХО:

Без нас.

Без нас.

Без нас.

СВЕТ ГАСНЕТ. КОНЕЦ.

До сих пор мы репетировали в своей школьной форме, но конкурс начинается через час, это генеральная репетиция, и мы уже готовы к выходу на сцену. Конкурс агитбригад всегда проходит в начале ноября, под великий праздник, мы варимся в этом занятии с третьего класса, опыта не занимать, и вообще-то есть стандартный набор нехитрых текстов и песен, повторяемых из года в год, – Солнечному миру да, да, да! – да и нехитрая же режиссура клепается классным руководителем за полчаса. Но в этом году мы решаем сделать рывок вперед – в конце концов, у нашего класса лучшие показатели по параллели, мы «пятый физмат», за нами водится слава интеллектуалов и нонконформистов, и мы с Машей и с примкнувшим к нам Сашей Варшавским уговариваем классную разрешить нам выйти за пределы этого самого стандартного набора. Классная, которой еще и тридцати нет, колеблется, но тщеславие берет верх – в конце концов, окончательные сценарии все равно утверждает завуч, если что, ей и отвечать, – и мы получаем «добро». В течение всего следующего месяца наша жизнь напоминает сумасшедший дом: мы пишем сценарий, безжалостно кромсая Евтушенко, Вознесенского и Рождественского, мы пытаемся упихнуть даже что-то из Высоцкого, но классная встает на дыбы, и нам приходится переделывать заново довольно большой кусок.

Текста нам мало – мы выпрашиваем разрешения менять освещение на сцене, и, наконец, убеждаем классную, что для полного триумфа нам необходимы особые костюмы. Обычно на конкурсы агитбригад выходят в пионерской или просто парадной форме, в крайнем случае переодеваются в представителей союзных республик или дружественных народностей, и уж в самых крайних случаях в дело идет нехитрый антураж вроде «буржуйского» котелка и «пролетарской» кепки. Но сейчас, за полчаса до выхода на сцену, мы одеты так, как придумал лично я, – ну или почти так. Я хотел, чтобы на девочках были красные туники (на Свете, как на главной героине – белая), а на мальчиках – черные рубашки и брюки. Туники пошили из выцарапанного Светкиной мамой невесть где кумача – я аж ахнул, когда увидел результат, так получалось красиво и так трагично, так хорошо соответствовало идее. Черных же рубашек, естественно, не было практически ни у кого, и трудами той же Светкиной мамы мальчикам пошили из черного сатина что-то вроде простых рабочих рубах, в которых мы все выглядели старше и внушительнее, чем были на самом деле.

Я не спал последние три дня, метался от эйфории к ужасу перед провалом. Будь я в лучшем состоянии, я бы сейчас, возможно, повел себя деликатней, но я взвинчен, и вот - стою, набычившись и упершись ногами в пол, а Светка, кажется, уже начинает шмыгать носом, но, видит Бог, я не готов выходить с ней вперед, взявшись за руки, потому что у меня все чаще возникает ощущение, что Светка вопьется в мою руку и не отпустит ее уже никогда.

Я не понимаю, как это произошло, но Светка в последнее время оказывается абсолютно везде: она сидит рядом со мной в столовой, она пытается одними губами подсказывать мне что-то на уроках, выпучив от напряжения глаза, она ждет меня у калитки, хотя я все время нахожу какой-нибудь предлог задержаться в школе на десять, пятнадцать, двадцать минут, а иногда и на полчаса: то мы с Машей решаем заглянуть в библиотеку, то застреваем в раздевалке за долгим разговором, то решаем зайти в столовую и купить по стакану компота, приготовленного для продленки – но все равно, дойдя до калитки, мы видим Светку и идем по аллее все вместе: мы с Машей впереди, болтая и глядя по сторонам, Светка – сзади, глядя себе под ноги.

Пару раз она предлагала проводить нас с Машей, но мы говорили, что нам надо поговорить «о кое-каких делах», и Светка, помедлив, сворачивала налево, в сторону своего дома, а мы вдруг начинали смеяться, как будто закончили долгое и тяжелое дело. Сейчас Светка почти шмыгает носом, мне ее жалко, а кроме того, нам вот-вот выступать, я должен немедленно помириться со Светкой, но это последняя капля, и я не готов ни на какие уступки, шло бы все к черту, у меня нет сил.

Вокруг нас стоят десять человек, я чувствую, как Маша сзади осторожно берет меня за рукав, я дергаю рукой. Мы с Машей ни разу не говорили о Светке, ни единого разу почти за год, но нам обоим все понятно. Мне совсем не жалко Светку, я только хочу, чтобы она не начала реветь, потому что вот-вот вернется классная и надо будет идти в актовый зал. Я отворачиваюсь от Светки в надежде, что она как-нибудь успокоится, и о чем-то спрашиваю Андрюшу Батраченко, маленького хорошенького мальчика, однажды пойманного пацанами в процессе целования своего собственного отражения в зеркальце и в 1995 году прилетевшего к мне в Киев повидаться на собственной красной «Сессне». За спиной у меня раздаются всхлипы, я делаю каменное лицо и теряю нить разговора, Светка разворачивается и пулей вылетает из класса, и тут же кто-то еще срывается за ней следом – я вижу мелькающую в дверях полу Машиной красной туники. До выхода на сцену остается пятнадцать минут.

Скатертью, скатертью, хлорциан стелется
И забирается под противогаз!
Каждому, каждому в лучшее верится,
Падает, падает ядерный фугас!

Полтора десятка лет спустя я вспоминал конкурсы агитбригад по странному поводу – мы с отцом объясняли Тамиле, тринадцатилетней дочери его друзей, сваливших в Штаты вместе с основной волной 89-90 годов, какие high school activities существовали в моем детстве. Сначала Тамиле излагала, отец слушал, наклонившись через стол и чуть приоткрыв рот в попытке выловить как можно больше из плохо знакомого языка, да еще и в подростковом его изводе, я переводил. Она говорила, что she is not dumb enough to be a cheerleader (я с тоской подумал, что she's not pretty enough as well, и проблема, мучающая ее, скорее всего заключается именно в этом), что she is not that much of a career chaser to run for her class president or something (честно говоря, она провела у нас неделю и за неделю не оторвалась от Cartoon Network больше чем на три часа) и что вообще high school activities are for those who lack personality, из чего я сделал вывод, что ее, толстенькую и угреватую, по большому счету куда не зовут, и ее personality оказывается ее единственной защитой.

У меня защемило сердце, и я сказал ей, что лучше уж вообще без activities, чем принудительно, – и попытался объяснить про агитбригады, тимуровские поручения, почетные караулы, конкурсы строя и песни, стенгазеты, политинформации, да бог знает что еще, с трудом вталкивая непере译имые и уродливые советские канцеляризмы в газетный политический английский, и она смотрело на меня все более и более недоуменно, а потом спросила:

– But why would you do all that?

– It was mandatory, – сказал я, – we had no choice.

– But you could walk away and then just complain to your parents! – сказала она, разведя руками, задела лежащий на тарелке последний тост, смахнула его на пол, я наклонился, линолеум еще пах средством для мытья – перед прибытием гости мама с утра наводила в квартире свою фирменную музейную чистоту, и я вдруг вспомнил стишок про хлорциан, а за ним потянулись и другие стишки, ходившие наравне с официальными, – городской фольклор, тайный и в то же время известный всем и каждому, – и я с ужасом подумал про общую обреченность их тона.

Даже детские страшилки были пропитаны этой обреченностью, а еще привкусом такой неизбежности, – ну, как объяснить? – словно для того, чтобы наступил конец света, уже не нужно было, по большому счету, чтобы какая-нибудь военщина что-то там решила. Я понимаю это сейчас, – нам казалось, что Красная Кнопка везде и повсюду, и на нее уже невозможно не нажать, ситуация неотвратима, никакая борьба за мир не имеет значения, это больше нас, это как апокалипсис, – наступит рано или поздно, что бы мы ни делали, какие бы речевки мы ни выкрикивали со сцены, как бы драматично Маша и Света и Ира, , в красном и в белом, ни склоняли головы в память жертв Хиросимы:

В поле нейтронная бомба лежала,
Девочка Маша кнопку нажала.
Некому выругать девочку эту –
Спит вечным сном голубая планета...

Поднимая тост, я вдохнул запах выдраенного мамой пола, вспомнил про хлорциан и вдруг представил себе, что каким-нибудь чудом мы бы построили свое тогдашнее выступление на этом фольклоре, читая с тем же трагическим выражением на лицах («Мальчик нейтронную бомбу нашел и на границу с Ираком пошел...»), и чтобы черное и красное и мы бы со Светкой выходили вперед, – но даже тогда я не согласился бы держать ее за руку, ни за что.

Проходят десять минут. Светы нет. Я слышу, как на сцене шестой «А» потихоньку подбирается к финалу: «Солнечному миру – да, да, да, ядерному взрыву – нет, нет, нет!» Я впадаю в состояние полной апатии – меня ждет не только провал, меня ждет чудовищная головомойка, я сорвал выступление своей бригады, я отказался повести себя по-товарищески, я... У классной белые от ярости глаза, ни Маши, ни Светы нет, Устинова помчалась их искать, но до сих пор не вернулась, нам выходить через три минуты, мы уже стоим в предбаннике за сценой. Я вдруг думаю, что хорошо бы эта треклятая бомба рухнула на нас прямо сейчас, и все бы закончилось, честное слово, в этот момент я готов перестать бояться и полюбить атомную бомбу. Маша врывается в предбанник, у нее сполз один бант, она вся в мыле, на ней Светкина белая туника, я не сомневаюсь, что она помнит весь текст наизусть, я успеваю быстро поменять местами Устинову и ее брата, чтобы сохранить симметрию красного и черного. На сцене гаснет свет, мы с Машей идем последними, у меня дрожат поджилки и сердце колотится от возбуждения, я так благодарен ей, что в темноте беру ее за руку - и так мы выходим на сцену.

Северная Атлантика, 10.225 м над уровнем моря

– Mark, Mark!

Я с трудом вынырнул из тёплой, бессловесной ванны, из темноты. Стив тормозил меня за рукав.

– Что, заяц?

Он посмотрел на меня.

– Oh, sorry, Stevey. So, what is that? – Я заставил себя улыбнуться. Он очень нравился мне.

– What was it you said first?

– Nevermind, it was in Russian.

– Okay. Say, how one can become a real photograhер?

– Well, it's not that easy, but possible, – if you know how to look.

– I know how to look. Everybody knows.

– It's nor quite what I mean. For example... Have you ever seen a man going down the stairs – to the subway, for example?

– Of course.

– And everydody has. But only one man – one famous Russian photographer – has made a picture, which is a sample for every photographer. Not he only saw a man, stairs and his shadow. But he saw it in some very special way, nobody else could see. And he was able show it all in a picture.

– How did he learn to look this special way then?

– He was just making photos. Like you do. Just try. Never forget about *seeing*. There are no things not worth looking at. Even if some of them seem ugly, you can always find beauty there. Any small, usual thing can have an interesting story. Pictures are stories – I mean, good pictures.

– Stories?

– Yes, like those pictures in Harry Potter movie, – the moving ones. Do you remember?

– Yes. But they were magic pictures.

Вдруг я представил себе, что несколько сделанных им сейчас кадров могли бы оказаться на страницах завтрашних газет. Или послезавтрашних. В зависимости от того, как все получится у меня. И это была бы та самая магия, а picture worth thousand words, a whole story, и ему не надо бы было знать про бленд, экспозицию, светосилу, да и *видеть*, по идее, не было бы надо. Он мог бы просто сделать мой портрет. Я бы улыбнулся для него. A rather simple magic.

– Well, it's a rather simple magic. You can do it. Any good photographer can. There's a story about one – he lived in Paris...

– It's where we are flying to now, right?

– Yes. So, he was just making pictures of a woman and a boy in a park. An ordinary boy, an ordinary woman, an ordinary park. But after he's come home and proceeded the film, he saw the pics were changing. In two weeks or so, there was nobody there in the pics, no woman, no boy, only a tree, a sky and a cloud, which was floating from one edge of a picture to another.

– This can't be true! You're kiddin'!

– No, Steve, I'm not. It's a true story.

Он серьёзно посмотрел на меня и задумался, теребя пластмассовую задвижку на свое мыльнице. Потом отвернулся. Я осторожно достал его из сумки, встал и пошёл в хвост, остановился, обернулся. Диспозиция почти не изменилась – только проснулся высокий хасид и, шевеля губами, покачиваясь, читал про себя небольшую книжечку.

Gatehouse Drive, Waltham, MA

Privet.

Sentiabr' – prekrasnoe vremia. Horosho, chto vse poluchaetsia. Dumaiu, chto vpolne eshe mozno budet kupat'sia, tut teplo. Da, izvini, chto latinica, eto ia s raboty. Chitat'sia kirillica chitaetsia, a vot pisat' – nikak. Tut vse po-prezhnemu, Martin ves' v kakoy-to shinshille s vospaleniem legkih, ee nuzhno kolot' special'noy malen'koy igolkoy, special'nymi shinshillovymi antibiotikami. Ee hoziaeva – studenty iz MIT, para, ona u nih v komnate zhivet, oni postavili kletku na okno – i vse, pnevmoniiia. Privoziat ee k Martinu v kliniku kazhdyy den' i rasskazyvaiut, chto ona shepchet v bredu. Sumasshedshiy dom. On smeetsia, no ya podozrevayu, deystvitel'no perezhivaet. Lizka hodit v shkolu, kazhetsia, dovol'na, no na moy vkus, oni ee nedostatochno zagruzhaiut, ona ne chuvstvuet challenge.

Rabota kak-to proishodit, ne skazat', chtoby ee bylo mnogo, no plotnoe raspisanie i zakazchik popalsia ochen' kapriznyy. Ia-to nichego, a vot shef moy, kotoryj kitaec, vse vremia ezdit na peregovory i sobral'sia, kazhetsia, na menia perevalit' chast' svoey raboty. Ia, ty znaesh', ne prisposoblена s bumazhkami kopat'sia – eto u vas tam nichego takogo net (uzh u tebia osobenno), a tut kakie-to beskonechnye timesheets, raspredelenie obiazannostey – hotia, vrode, v gruppe tri cheloveka i neponiatno, otkuda takoe kolichestvo otchetnosti beretsia. O tom, komu eto vse nuzhno, ia predpochitaiu voobshe ne dumat'.

Vchera Martin rasskazyval mne pro pnevmoniiu, a ia vspominala, kak v detstve bolela lozhnym krupom – dolgo, eto togda ploho umeli lechit', v obshem, ia valialas' nedeliu s temperaturoy,

priezzhala neotlozhka, chto-to takoe mne kololi, tozhe belich'i, nebos', antibiotki, otkuda u nih chelovecheskie. I kogda ia uzhe vykarabkalas' nemnogo, mama mne rasskazala, kak ia ee v odnu iz nochey pozvala. Ona prishla, govorit, – a ia lezhu, otkinuv odeialo – nu, let shest' mne bylo, – i pokazyvaiu na eto mesto, otkuda rebra vniz rashodiatsia – i ono nemnogo pul'siruet. A ia govoriu: "Vot zdes' my postavim hrustal'nyy domik, chtoby bylo vidno, kak rabotaet serdce". A potom eshe boltaiu. I ona ne srazu soobrazila, chto eto ia v bredu. Shinshilla ia, v obshem. Boltaiu ne po delu.

Po delu tak: esli ty poedesh' iz DC, to mozhno libo arendovat' mashinu, libo poehat' Greyhound'om – eto chasov vosem'. Ty skazhi, mashinu ia mogu zabronirovat' zaranee. Pozvoni na cell, kogda budesh' pod'ezzhat', ia tebe dam podrobnye ukazaniia. Esli na avtobuse, to on tebia privezet na South Station, pozvoni ottuda, ia pod'edu za toboy, eto bystro.

Priezzhay skoree.

Love,
Masha

26 апреля 1986 г

Это и был сад земной, апрельский Крым, весь в цветах, в свежей зелени, а в Москве, тем временем ещё по ночам заморозки, и как бы не побило слишком ранний яблоневого цвет, может статься, не дожждётся ни штрифеля со странным вкусом, ни рассыпающегося белого налива, ни мелких твёрдых яблочек неизвестного рода-племени. Но это там, к северу, к северо-западу. Тут море, – специально для нас, победителей областных, республиканских и краевых олимпиад по всем возможным школьным предметам, – солнце, цветы, редкие облака над холмами и деревянные домики. Пятое питание: кефир с булочками на ночь, пионерский лагерь “Орлёнок”, две недели без уроков, домашних заданий и холода, после долгой московской зимы.

Я быстро свёл знакомство с Наташей, фотографией, – то есть, руководительницей фотокружка, – дамой лет, как мне тогда казалось, сорока, а теперь я думаю, что, наверное, от силы двадцати с небольшим. Она позволяла мне подолгу засиживаться в тёмной комнате, нарушать правила распорядка, мотивируя это тем, что-де, дневной свет всё равно просачивается через щели, фотографу необходима ночь. Видимо, я нравился ей – в большинстве своем юные физики, химики и математики к фотографии особого интереса не проявляли, но и не то чтобы совсем оставляли Наташу в покое. Пара человек приехала с фотоаппаратами, некоторые умники любили прийти на занятие и изводить ее вопросами о процессах и составах. Я же вел себя смиренно, и она была благодарна мне за это.

Вожатая отряда Марина, будущий юрист, прокурор, морщилась, но победители олимпиад в целом хлопот доставляли не то, чтобы много, оставалось время и на флирт со вторым вожатым, Валерой, и на ночные шашлыки с педагогическим составом. Иногда туда убегала и Наташа, оставляя нас одних в ночи колдовать над метол-гидрохиноновым проявителем и фотобумагой “Бромпортрет”, - венгерской “Forte” в “Орлёнке”, конечно, не водилось. «Нас» – это меня и Таню, мою ровесницу, юного историка. Она, киевлянка, дошла до всесоюзной олимпиады, где её на полкорпуса обошёл отдыхавший с нами же строгий мальчик Слава, в будущем известный политолог, автор книги “Империя и модернизация”, – книгу в английском переводе я увижу через много лет на полке то ли Barnes&Noble, то ли Asia Books – и вспомню эту историю благодаря редкой, ни на что не похожей Славкиной фамилии.

Теперь мне кажется, что фотография Тане вовсе не была интересна, а был интересен ей, скорее, я. Ну и возможность нарушать распорядок. Я чувствовал это, но все равно подолгу рассказывал ей о псевдосоляризации и композиции кадра. Она покорно слушала и даже, обзаведясь к тринадцати годам определённой женской мудростью, задавала вопросы, стараясь садиться ко мне поближе и водя пальцем над фотографиями (дотрагиваться до бумаги я ее быстро отучил). Я жалел, что не мог показать ей Картье-Брессона и фотографии Рима, сделанные Джинной Лоллобриджидой – оба альбома можно было брать в читальном зале районной библиотеки, в Москве, – я так и делал, как минимум дважды в неделю. Как мог, я пересказывал ей содержание фотографий. Безнадёжное это занятие натренировало во мне способность писать “изложения по картинам”, за которые я неизменно получал оценку 5/4, – пара необходимых запятых каждый раз закатывалась куда-то под парту, – и не представляю себе, какие уж там образы складывались у Тани в голове, да и слышала ли она хоть что-нибудь. Я и сам иногда слушал свой голос как чужой, потому что больше всего меня интересовало, как к вечеру от прохлады встают дыбом волоски на Таниной руке и как в свете красного фонаря от ее не слишком складного девчоночьего тела остается только абрис, неожиданно женский, с какими-то изгибами и провалами, по которым гладко скользило мое сердце.

Марина постоянно подшучивала над нами, дразнила «женихом и невестой», я же угрожал ей, что если она будет делать это при всех, я снова с ней заговорю при всех о Солженицыне. Это я однажды уже проделал – не чуя плохого, совершенно случайно, просто к слову пришлось. Марина несколько побледнела и попыталась закруглить разговор, но я не унимался. Тогда она вытащила меня на веранду корпуса и стала так шипеть, что я немедленно, не пытаясь протестовать, заткнулся. Зато против «жениха и невесты» у меня теперь имелся действенный приём, – хотя один раз с той же Мариной неожиданно состоялся у нас разговор по душам, должно быть, сильно тронувший ее и несколько просветивший меня в вопросах женской психологии.

Так вот, сад земной, апрельское утро, после завтрака я сидел на скамеечке и читал по-английски “Алису в стране чудес”, понимая, конечно, примерно половину, но упрощая. Кроме всего прочего, меня сильно подгоняло соображение, что автор был математиком и фотографом. Я уже успел рассказать Тане историю о том, как английская королева, придя в восторг от приключений маленькой девочки, попросила принести ей остальные книги того же автора – и получила огромную стопку монографий. «Получите, называется. Надо было математику учить, Ваше Величество,» – говорил я, а Таня ахала и, заметим, в ответ не заваливала меня историческими фактами касательно королевы, наверняка хорошо известными ей, юному историку. Женская мудрость, именно. Прямо над головой у меня висел громкоговоритель – они везде висели, считалось, видимо, что без постоянного звукового фона дети заскучают и начнут думать о чём-нибудь неправильном. По громкоговорителю трубили подъём и объявляли скорбным голосом отбой, передавали новости и, – как правило – музыку. Десятичасовой выпуск новостей начался со слов “Чернобыльская АЭС”, “четвертый энергоблок”, “опровергает”, через плохой шипящий динамик было не разобрать, да, в общем, не особенно и хотелось, я застрял в середине главы, пытаюсь понять какую-то очередную шутку, основанную на игре слов, ни одного из которых я не знал, а словаря под рукой не было.

- Марк, Марк, – Таня ко мне бежала по дорожке от корпуса, – Марик! Ты слышал??
- Что такое, Танька, что слышал?
- Авария там, авария на атомной станции, в Чернобыле, это же близко к Киеву, а я не могу своим дозвониться.
- Подожди, а ты расслышала, что по радио говорили?

– Они говорят, ничего страшного, а больше я ничего не понимаю. Какие-то замедлители вынули по ошибке, это что вообще?

Я знал что такое замедлители, идея их вынуть из реактора мне не нравилась. С другой стороны, было непонятно, как это можно сделать по ошибке. Она взяла меня за руку и смотрела выжидательно, свежая царапина на плече наливалась розовым, я совершенно не представлял себе, что делать, но все-таки сказал:

– Так, хорошо, пойдём попробуем позвонить ещё раз, – и она пошла, так и не выпуская моей руки, и к телефонам-автоматам, возле которых уже стояли пять-шесть человек киевлян и пара особо нервных девочек из других городов, пришедших на всякий случай, – и так, за руку, мы и простояли полчаса, пока телефонистка не дала нам Киев, и никто не сказал нам про жениха и невесту, ни слова.

Таня закричала в трубку: «Папочка, папочка!», я смотрел на солнце, ладонь была потной и горячей, я чувствовал себя совершенно удивительным образом: что-то очень мужское было в том, чтобы опекать не привычную Машку и не Лелю, двоюродную сестру, с которой мы ездили в пионерские лагеря каждое лето, а совсем чужую девочку, прибежавшую ко мне за помощью, когда ей нужно было на кого-нибудь опереться. Я спрятал ладонь в карман, Таня ссутулилась над трубкой, и сквозь желтый трикотаж футболки проступили завязочки от купального лифа и крупные, круглые позвонки. Из будки она вышла успокоенной, папа сказал, что ничего не происходит, совершенно ничего страшного, тепло, солнце, всё в порядке, на майские они с мамой собираются на дачу сажать картошку и чтобы она не беспокоилась и отдыхала себе. Через месяц про эту дачную киевскую картошку уже ходили легенды и анекдоты – как хохол себе в картофелине дом построил, как все клубни покрылись чешуей, как поевшие ее свиньи слепли или рожали поросят с шестью ногами, – но тогда мы успокоились себе – и успокоились, и громкоговоритель хрипел над нами, что ничего особенного, жертв нет, и думать, следовательно, было не о чем.

– Ну вот видишь, – сказал я ей, когда мы вышли из директорского корпуса. – А ты боялась.

Таня вдруг остановилась и посмотрела на меня, склонив голову на бок. Я засунул руки в карманы, не понимая, должен ли я снова взять ее ладонь в свою – или теперь, когда опасность миновала, эта идея покажется глупой и смешной. И вдруг она спросила:

– Можно, я тебя обниму?

И тут же обхватила меня руками, положила голову мне на плечо. Её коротко, чуть не ёжиком стриженные волосы пахли морем и яичным желтком, а ещё почему-то чуть-чуть солодом. Я осторожно положил ладони ей на спину, – круглые позвонки, завязочки от купальника, – и через футболку почувствовал, какая у неё горячая кожа, сгорела вчера, наверное, на волейболе. Мы постояли так секунд десять или двенадцать, я думал, что будет, если нас кто-нибудь увидит, и эта мысль почему-то не пугала меня, а отдавалась теплом вдоль позвоночника, а Таня, наконец, отпустила меня, и я отпустил ее тоже.

– Спасибо тебе. Я пойду к девчонкам, скажу, что все в порядке. Увидимся вечером, хорошо? Ты будешь в лаборатории?

– Буду, — сказал я. - Надо же это. Проявлять, ну. Ты приходи.

И она убежала. Я пришел в лабораторию к семи и сидел там, не находя себе занятия, пока Таня не пришла и не заявила, что вечер очень тёплый, первый по-настоящему тёплый и его жалко просиживать в лаборатории, а надо, наоборот, идти гулять и даже, возможно купаться, потому что она поговорила с Мариной, Марина её отпустила и вообще хватит тут сидеть. Я пошёл в корпус переодеваться, натянул свои плавки, потом быстро снял их и взял со спинки Пашкиной кровати его плавки – мешковатые, Пашка был толстенный мальчик.

Пляж в лагере был галечный, поэтому мы не стали подходить прямо к морю, а остались на узкой полоске песка у самой ограды и сидели на ней, привалившись спиной к сетке, глядя в темноту. Вода едва слышно плескалась, а воздух и правда был как молоко. Ещё были звёзды, а вдалеке передвигались какие-то огоньки. Один из них с шипением выпустил осветительную ракету.

– Военные...

– Почему военные?

– А граница же тут. Мы со Славкой вышли вчера за территорию, – так там если налево пойти – вышки пограничные, и на воротах написано “Стой! Стреляю!”.

Мне все казалось, что Славка пошел со мной гулять неспроста, но он так ничего и не сказал, и мы вернулись в лагерь, молча побродив полчаса в зарослях смородины и лопухов.

– Странно то как-то. Где граница, а где мы.

– Да чего же странно. – Моя рука лежала на гальке совсем близко от ее руки, буквально в паре сантиметров, – Турция – рукой подать. А Турция, между прочим, член НАТО. Я слышал про одного человека, который туда уплыл на резиновой лодке, ночью, его погранцы пропустили, потом сняли какого-то большого начальника.

– Ничего себе. Это сказки какие-то. Это же целое море надо переплыть.

– Ну и чего? Вон Хейердал с Сенкевичем сколько переплыли...

– Не, сказки, мне кажется. Через границу, ничего себе. Мало ли кто чего рассказывает.

Я запнулся. Ссылаться на авторитет радио “Свобода” было, по мнению моих родителей и их друзей, несколько неблагоразумно. Ну и что?

– Это по радио “Свобода” сказали.

– Это что такое?

– Ну, есть такое радио. Ты не слышала.

– А. Это “голоса”. У меня папа иногда слушает. Редко.

– И у меня слушает. Часто. В Москве, правда, плохо слышно, у вас, говорят, лучше. Это там и рассказывали, про человека этого. Спортсмен какой-то.

Мы помолчали. Таня на сантиметр сдвинула руку, и тогда я положил ладонь ей на плечо. Но обнять не решился. Сидеть было неудобно, спина начала ныть. Надо было говорить о чем-нибудь.

– Недалеко до Смирны и Багдада. – сказал я, глядя в небо. – Но трудно плыть. А звёзды всюду те же.

– Это что?

– Осип Мандельштам. Про Феодосию.

Прозрачна даль. Немного винограда,

И неизменно дует ветер свежий.

Недалеко до Смирны и Багдада,

Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

Это он вот про что мы сейчас говорили. Про Крым. Про уплыть.

– А он уплыл?

– Неа. Он не уплыл. Он умер в лагере. Говорят, потом ещё получали за него пайку как за живого неделю и делили.

Таня передернулась.

– Ужасы ты рассказываешь, – сказала она, и я вдруг почувствовал, что с этого момента все наши фразы будут означать нечто совсем другое, нежели сумма использованных в них слов.

– Зато это правда, – сказал я, а пальцы мои осторожно пошевелились у нее на плече.

– Я не хочу правду, – сказала Таня. – Я хочу купаться.

Она встала и начала расстегивать шорты, потом стянула футболку, и я почувствовал, что хорошо бы мне дать ей отойти подальше прежде, чем я сам начну стягивать штаны. Она пошла к воде, осторожно ступая по гальке, и тот же абрис, который так странно изгибался в слабом освещении красной комнаты, теперь предстал передо мной в однотонном свете лунной дорожки. Цветов не было, собственно, почти ничего не было, ни кожи, ни тела, а только Таня, облако такое, на котором и в темноте угадывались ямочки под лопатками бретельки купальника.

Через четыре месяца, летом, в другом пионерском лагере я увижу такой же купальник на другой девочке – и у меня в животе сразу станет тепло и мягко, хотя к той, другой, я так и не решусь подойти – она будет одной из «киевских детей», которых распихивали в то лето по пионерским лагерям целыми школами, увозя подальше от радиации. Несмотря на уговоры вожатых, мы сторонились их, как чумных, потому что считалось, что от них «переходит радиация» и что они «светятся в темноте». Уж не знаю, светились ли в темноте эти несчастные маленькие изгои, но Таня, уже вошедшая в воду по лодыжку, светилась, и я на секунду забыл, что сам рвался идти за ней в воду, а просто смотрел на нее – отрешенным, остранённым взглядом, каким я сегодня смотрел бы на входящую в крымское море тринадцатилетнюю девочку, видя только красоту, нежность, расцветающую женственность и не чувствуя себя, не чувствуя. Таня обернулась, я вскочил, отвернулся, вылез из одежды, остался в мешковатых Пашкиных плавках и поскакал по гальке к теплой, как суп, воде. Она поплыла впереди меня, как маленькая русалка, и я бы не удивился, если бы она запела, но она молчала, и до нее было подать рукой, как до Смирны и Багдада, и я протянул руку, взвилась еще одна сигнальная ракета, свистнуло, мы вздрогнули, и тут она осторожно прижалась ногой к моей ноге, и дальше мы висели в чёрной воде, медленно вращались, и сквозь воду касаться ее кожи было не страшно, потому что вода была между нами как ткань, расходившаяся при каждом движении тяжелыми солеными складками. Танины волосы торчали ежиком, и я сделал то, о чем думал весь день: потянулся и взял несколько соленых колючих прядок губами, она уткнулась мне в шею губами и носом, я боялся, что она почувствует мое напряжение, но она не отстранялась, мы просто стояли так в воде, не шевелясь, и почему-то я слышал все, что происходит в воде и под водой, и на земле, и под землей и на небе.

Я слышал крики пограничников и шорох мельчайших волн, расходящихся от зависших вдали от берега медуз, я слышал как хлопают крыльями чайки, мечущиеся под облаками, слышал топот Пашки, возвращающегося в нашу комнату после вечернего костра, чей-то очень далекий плач, шорох и вой эфира, и еще какие-то звуки, которые не понимал тогда, тяжелые и мерные – и только много лет спустя, из одного тяжелого документального фильма, я понял, что слышал в ту ночь грохот солдатских сапог по полузаваленным коридорам взорвавшейся электростанции, – это добровольцы бегали «десятиминутки», спасая из зараженных помещений приборы и оборудование, чтобы через восемь часов (когда я проснусь в корпусе после беспокойного и неловкого сна, полного прикосновений куда как менее целомудренных, чем эти па медленного подводного танца), – умирать в муках, захлебываясь собственной рвотой, на глазах у врачей, которые раньше видели всё это только в учебниках.

Кто-то засмеялся на той стороне пляжа, послышались шаги, и Таня немедленно оторвалась от меня, нырнула, вынырнула у самого берега, бросилась к полотенцу, а я помчался за ней следом, неловко падая в воде. До корпуса мы шли молча, не то чтобы не зная, что сказать, а скорее, не понимая, зачем. Через три дня мы разъезжались, писали друг другу адреса на пионерских галстуках, я обнимал ее в опустевшем корпусе за пять минут до отхода автобуса, в буквальном смысле отрываясь от нее сердцем, потом я получил два письма, написал одну открытку. Больше ничего не было.

Земной сад, цветы при люминисцентном свете фонаря были как будто покрыты серебристой пылью, – выйдя на середину аллеи, я разом услышал стрекотание всех цикад: такое привычное, что перестаешь его замечать, это стрекотание вдруг рухнуло на меня отовсюду. Я услышал собачий лай где-то вдалеке и плеск со стороны моря, и замотал головой. Чтобы как-то успокоиться, я решил пойти в радиорубку, посмотреть, что делает Славка, который там обычно болтался, –наверное, я понимал, что не засну.

Поднявшись по лестнице, я услышал из-за прикрытой двери шипение и треск, а больше ничего, – постучался, никто не ответил, я распахнул дверь, а там, у приемника, стоявшего под самой настольной лампой, вокруг стола, заваленного радиодетальями, стояли Наташа, Марина, Славка, какие-то ещё из других отрядов, а знакомый неприятный женский голос, с трудом выгребая из из металлического шума, продолжал: “По сообщениям очевидцев, люди тысячами покидают Припять и Чернобыль, пытаюсь прорваться через заградительные кордоны. Метеорологические службы североевропейских стран предупреждают о приближении радиоактивного облака”... Я слушал, опершись спиной на дверной косяк, смотрел на зелёный абажур настольной лампы и думал о том, что завтра я расскажу все это Тане и буду с ней, и она сможет на меня опереться. “Вы слушаете программу Liberty Live, – сказала радио, – Свобода в прямом эфире”.

Северо-Восточная Атлантика, 11.040 м над уровнем моря

Стив уже расспрашивал маму о том, будут ли у него в Москве новые друзья, она успокаивала его, что да, конечно будут, и школа ему понравится, а ещё там можно играть в снежки, – помнишь, как в Сан Луис Обиспо привезли с гор снег на грузовиках – ну так вот, в Москве снег падает с неба, сам, его ниоткуда не привозят.

Я поёжился – почему-то продрог, а то ли просто начал трезветь не к месту. И всё время думал про женщину и мальчика, про ветку на той фотографии, про то, чем закончилась история, что мальчик остался, видимо, цел и невредим, а больше мы ничего не знаем.

– Say, Mark, – Джози перегнулась ко мне, – our new apartment is somewhere near... – Она достала бумажку и прочитала по слогам: – Kropotkinskaya. Is it a good neighbourhood?

– Well, there are no neighbourhoods in American terms in Moscow. But yes, it's rather a nice place and quiet if your new apartment is far from the street. And it's close to the centre. Well, imagine yourself living somewhere in Upper East Side...

– I've never lived in New York, – она улыбнулась. – It's crazy. Everybody is in a hurry. They don't live life there.

– Well, Moscow is much more like New York, than like SLO, you'll see. But you'll get used to it.

Я не сказал ей. Я подумал, что хватит с неё переезда, хватит с неё наступающей зимы с тридцатиградусным морозом, им и так страшновато ехать в незнакомую страну, хватит с них. Все произойдет само и, наверное, продлится недолго. А потом, в сутолоке переезда и первых дней, всё, может быть, как-то и забудется. Или хотя бы когда-нибудь.

– Нет, это, конечно Арбат, только что без матрёшек, как видишь. Но смысл, в общем, примерно такой.

– Нет, мне кажется, это какой-то правильный Арбат, такой, как бы сказать, небесный Арбат, его райский двойник, только что без смарагда и сердоликов, хотя, смотри, как сказать, – в этот момент мы как раз проходили мимо небольшой ювелирной лавочки. Маша улыбнулась.

– Вот ты всегда так.

– Ну да. А как ты хотела. Иудеи ищут знамений, а еллины – доказательств.

– Ну тебя. Я тут один раз шла в десять вечера, машина стоит, припаркована, а там девочка минет делает своему бойфренду. Я случайно заглянула. Она на меня смотрит большими глазами, остановилась, но не отрывается – я ей улыбнулась, да и дальше пошла.

Я потряс головой. Прошло всего четыре дня, джетлаг никак не хотел отпускать, – особенно учитывая, что я ещё и с Азии-то не особенно успел перестроиться. Первый день вообще прошёл в совершенно сомнамбулическом режиме. Попрошавшись с франкоговорящими улыбчивыми представительницами авиаперевозчика, я с грехом пополам доковылял до паспортного контроля. Там одноглавый, но зато очень внимательный цербер произнёс свой сакраментальный вопрос, я в полусне буркнул что-то про Нью-Йоркское триеннале фотографии, шш-их – проверка подлинности паспорта, хлоп-хлоп, чирик-чирик, welcome to the United States, baggage claim, расступающиеся двери, утренний, пахнущий бензином воздух. Kew Gardens показался после JFK зелёным районом, чуть не парком. Джеки с Костей напоили меня чаем, накормили завтраком, я переоделся, и отправился болтаться по Манхэттэну, у меня был всего день, – а точнее, учитывая восемь часов разницы, вечер и ночь, – на завтра нужно было ехать к Олегу с Лилей в Вашингтон, а уже оттуда автобусом (всё-таки автобусом) – в Бостон.

Слева написано: Combo Pizza+Coleslaw+Cola for only 9.99, справа – Escape the everyday for just 9.99. Выбор, как всегда со времён Декарта, стоит между телесным и духовным. Всякий раз, думая о том, что надо бы уже, наконец, доехать до Штатов, я представлял себе, что поеду не просто так, а по строго определённом маршруту – Большой Каньон, где не водится никого, Бостонская гавань, заповедник Stratocumulus, а ближе к зиме и Nimbostratus забредают, и вот этот кораблика, который ходит вокруг Манхэттена – чтобы с него захватить здешних Altocumulus, когда они пасутся над застывшей диаграммой сумасшедшего архитектурного эквалайзера Нью-Йоркских небоскрёбов из журнала «Америка» за 1978 год. Но сейчас, после 9/11 смотреть на эту линию казалось мне несколько неприличным, что ли, – вроде как ехать фотографировать Мэрилин Монро, которой две недели назад противопехотной миной оторвало ногу. Пицца, салат и кола победили, – ещё бы двойной, нет, лучше тройной эспрессо, – и есть шанс, что вечера я доживу.

Я дожил до вечера, спал в Амтраковском поезде, Балтимор, Филадельфия, потом ещё спал у Олега с Лилей и был разбужен их трёхлетним сыном с утра – он ощупывал моё лицо и говорил: «Дядя, вставай». Это стоило труда. От двух дней в ДС память сохранила в основном толстых серых белок на ограде неожиданно маленького Белого Дома, сцену приезда байкеров в Hooters неподалёку от китайского квартала (девочки захлопали в ладоши, запрыгали, а Олег задумчиво сказал: ну вот, гусары приехали...) и распитую неизвестно с какой радости посреди рабочей недели литровую бутылку пятидесятиградусной «Смирновки», вручённой Лиле в собственные руки её посольскими друзьями. Наутро Олег лежал пластом, а я, договорившись, где оставлю машину, поехал на автовокзал. Девять часов тридцать минут в автобусе с весёленькой надписью «Питер Пэн» на боку, рекламный щит растворимого кофе: «Thanks to us, there are no more sleepy

little villages», шпиди, лесополосы, два сэндвича, три бутылки воды, ни одной сигареты. South Station. Boston. MA. Уже темно.

— Тут хорошо. Слушай, а мы к центру ведь идём, да?

– Ага, к центру. А что? Там ничего интересного, в общем.

– Как это ничего интересного? У вас тут кладбище, на котором похоронена семья Матушки Гусыни.

– Ничего себе. Это ты откуда знаешь?

Я открыл сумку и показал ей купленный в аэропорту Lonely Planet Boston.

– Ты всё-таки очень систематичный человек, ты это знаешь? А ещё художник.

– Понимаешь, Машечка, проблема как раз в том, что я не художник. И никогда им не буду. Я ремесленник, – правда очень хороший. Это Таня Сазанская художник. А я нет. Это кажется только. Ну, если я очень буду стараться, то в конце жизни мне сделают персональную выставку: “Сорок лет по странам и континентам”.

– Тебя это мучает?

– А как ты думаешь?

– Я не знаю. Я совсем ничего про тебя не знаю, – я поняла, когда читала твои письма.

– Мучает. Меня это мучает. Меня, собственно, всё мучает.

– Знаю-знаю. Все хотят твоей смерти.

– Ну, не все...

– Но очень и очень многие...

Она засмеялась и на мгновение приобняла меня.

– Как странно, что ты здесь, ты не представляешь себе.

Я сжал её запястье.

– И мне ужасно странно. Всё это ужасно странно. Как это получилось, а?

– Я не знаю. Не хочу думать. Главное, чтобы всё получалось само. А ещё чтобы потом не жалеть. Не сделать ничего такого, о чём бы потом жалеть.

– Мы и не сделали. И не сделаем, да?

– Да.

Рекламный щит в гавани гарантировал, что если мы купим тур на китов, то киты точно покажутся.

– Как ты думаешь, они их прикармливают? – спросила Маша.

– Почему прикармливают. Я думаю, киты деньгами берут. Ну, плюс соцпакет. Я ненадолго, хорошо?

Я сделал несколько снимков сквозь ряд арок, в конце которого стояла какая-то мелкая скульптура, не более и не менее нелепая, чем все мелкие скульптуры на свете, а потом подошёл к самому краю пирса. Обещанных *Nimbosratus* не было и в помине, подвела переменчивая *East Coast weather*, а вот полупрозрачные *Alto cumulus* действительно висели вдалеке, над портовыми складами, над зеленью – на той стороне. По касательной, чуть ниже облаков, карабкался в небо самолёт, градусов пятнадцать к линии горизонта, если приложить транспортир. Четыре серии по восемь через одну десятую, двадцать шагов вправо, новая плёнка, пять серий по шесть, свет плохой, очень плохой свет, очень плоский, сейчас мы его, при такой чувствительности камера должна вытянуть. Я закончил, спрятал аппарат, обернулся. Маша рылась в сумочке, звонил телефон. Я снова уставился на гавань, она, зажав левое ухо рукой, небольшими кругами ходила по пирсу, а я так старался не слушать разговора, что и действительно не услышал, как она оказалась у меня за спиной и, уже подойдя ко мне совсем близко, сказала “I love you”. Через один удар моего сердца, короткий, добавила: “Bye, dear”, спрятала телефон, подошла, положила подбородок мне на левое плечо.

– Всё в порядке?

– Угу.

Я обернулся к ней.

– Это Мартин звонил. Лизка смотрит cartoons вместо чтобы уроки делать. А ещё вечером нас зовут на party, там недалеко от нас, русские, ужасно приятные, тебе понравится. Там у них отложенный день рождения. Ты же пойдёшь со мной, правда же, правда же?

– А это нам надо подарок купить, правда же, правда же?.

– Правда же. – Она засмеялась. – Придумаем что-нибудь. Пойдём в «Дьянсен» вон зайдём, купим какую-нибудь штучку. Только это на Ньюбери придётся вернуться.

Это был день рождения Мирры, отложенный. Пять-шесть человек русских, трое американцев – включая рассеянно улыбающегося мне Мартина. Дима, хозяин дома, R&D manager крупной софтверной компании, приготовленная Миррой ужасно вкусная, совершенно русская еда. Разговор перескакивает с русского на английский, русского по мере того, как пустеет бутылка дорогой польской – польской! – водки, становится всё больше, разговоры о работе, рецессия, детям в колледж, SAT, – Мирра, смешливая еврейская девочка лет сорока, профессор права, спорит с Мартином об affirmative action, а умный ироничный Дима наблюдает всё это со стороны и только изредка вставляет реплики в типичный пьяный русский разговор, перенесённый на американскую почву.

– Цель была сформулирована Никсоном ещё когда – welfare state. Другое дело, к чему всё пришло и что теперь ассоциируется со словом welfare... – говорит Мартин.

– Зависит от того, что мы хотим получить в итоге, – то есть, что, какую страну...

– Давайте выпьем – провозглашает Саша, вечно укуранный рыжеватый программист и по совместительству философ, живущий неподалёку, – Давайте выпьем! Мирра, брось ты их с этой политикой, иди сюда.

Я вообще не помню, когда я получал такое удовольствие от общения с людьми. Думаю, ещё рюмки через три я был бы готов жениться практически на любом из них.

– Ты не скучаешь?

– Ты чего, Машечка, нет, конечно. Они охуенные, реально, я давно столько удовольствия от людей не получал, невероятные какие-то.

– У Димы тут кот уходил из дома, – Кот трётся тут же, поблизости, о спинку зелёного кресла. – Он ужасно расстроился – ну все расстроились, переживали страшно. Ничего, пришёл через две недели, ободранный такой.

– С блохами??

– Нет, – смеётся, – без блох. Я боюсь, тут нету блох, даже в природе.

– Пойдём, вылезем на улицу, а? Я курить хочу.

– Пойдём, я с тобой постою.

На улице Маша просит сигарету, я пытаюсь отдать ей всю пачку, привезённую из Москвы. Она качает головой.

– Бери, ладно тебе, они по семьдесят центов пачка примерно.

– Нет, я просто стараюсь не курить с некоторых пор.

Я прикуриваю.

– Тихо тут невероятно. Везде. Зелень, тишина, небо. Тот свет. Лимб, точнее.

– Ну это тебе только кажется. Лимб – это, знаешь, то, что окружает других.

– А ад – это не другие, я помню. Ад – это те же самые.

Я запрокидываю голову и вижу крупные, как земляника, звёзды.

– Ну посмотри, правда же. Таких звёзд не бывает. И такой тишины не бывает в городе. И Мирры с Димой таких замечательных я не могу себе представить. Это в кино, – причём, в каком-то старом, не Кубрик, не Джармуш, не Коэны, не дай бог, а что-то совсем далёкое. Вера Холодная, не знаю. Из несуществующей жизни. Пойдём пройдемся немножко, а? Мне надо чуть протрезветь.

Она потрепала меня по волосам.

- Пойдём, пьянчужка.
 - А Мартин ничего, что мы вдвоём ушли?
 - Знаешь, он, кажется, про всё это вообще не думает.
- Мы идём среди сонных, спящих уже домов, свет почти нигде не горит, – и молчим, – потому что и сказать, вроде нечего. Тогда я вспоминаю старую игру и говорю:
- Ашхабад.
 - Донецк, – отзывается она, ни о чем не спрашивая.
 - Киев. И чур, без американских городов, русские только. А то мне точно не светит.
 - Договорились. Вильнюс.
 - Сигулда.
 - Алма-Ата.
 - Нечестно. Абакан.
 - Облака плывут. Нарва.

Я запнулся. Ничего, кроме Анкары на ум не шло. И Анкара теперь была едва ли не ближе к России, едва ли не привычнее слуху, чем все бывшие города бывшей империи, которые мы назвали.

5 июля 1986

У меня есть одна двушка, одна монета в три копейки, два полтинника, три десятикопеечных монеты и одна -двадцатикопеечная, то есть тридцать шесть копеек не составляют никаким образом. У Маши есть две монеты по пятьдесят копеек, один гривенник и два пятака, но вопрос о тридцати шести копейках ее не заботит. У Кости Погорелова есть пять монет по десять копеек, две монеты по две копейки, три монеты по копейке и еще рубль бумажкой, который он неторопливым движением прячет в нагрудный карман, а потом говорит:

– Уберите деньги, я плачу.

Три молочных коктейля стоят $18 \times 3 = 54$ копейки, утомленная, с темными кругами под глазами продавщица за стойкой заявляет, что «готова отпускать только без сдачи», и пока я пытаюсь составить 36 – за себя и за Машу – из 2,3,50,50,10,10,10 и 20, Погорелов протягивает ей 10,10,10,10,10,2,1 и 1 и мы получаем три стакана с теплым пенистым напитком неопределимого сладковатого вкуса.

Я взбешен, но ничего не говорю: у нас с Погореловым «высокие отношения»: мы не здороваемся, называем друг друга по фамилиям и ведем себя надменно-вежливо, подражая не то Печорину с кем-то там, не то мушкетерам короля и гвардейцам кардинала. Мы общаемся на «вы» и время от времени произносим высокопарные фразы: так, я подал ему уроненное в раздевалке пальто со словами: «Я не люблю Вас, Погорелов, но знайте, что я всегда готов прийти Вам на помощь.» Мы делаем вид, что у нас есть некий общий тайный интерес, некое не то «дело», не то «дельце». В чем оно заключается – загадка для нас самих, тайный же общий интерес наш лежит на поверхности: это Маша. Погорелов страстно влюблен и не делает из этого никакой тайны: он добровольно стал Машиным рыцарем и с помощью этого хитрого хода получил массу выгод. Во-первых, по нему немедленно начала вздыхать половина девчонок нашего класса, и даже Катя Адамова, неожиданно, за несколько месяцев, превратившаяся в королеву всей параллели благодаря появившемуся из ниоткуда бюсту и манере говорить скользкие фразы («Ты скажи, скажи ей «Девочка, как тебя зовут?» Да скажи, блин, че ты дрейфишь, ты приколешься, да скажи!» – «Девочка, как тебя зовут?» – Катя (с непередаваемым презрением в голосе): «Малыш, где ж ты был, когда я девочкой была?...») – так вот, даже Адамова, не готовая

снизойти до банального стреляния глазками, подошла к Погорелову в столовой и сказала, опершись на стол так, что сильно оттопырилась кокетка ее форменного платья: «Ах, Погорелов, Погорелов, была бы я на два года младше – глаз бы с тебя не сводила».

Словом, став Машиным рыцарем, Погорелов превратился не в объект для насмешек, как часто случалось с моими сверстниками, а в мечту слабого пола. Во-вторых, начини он просто лезть к Маше с разговорами или вырывать у нее на переменах портфель, или даже просто писать записки – Маша бы немедленно начала игнорировать его «домогательства», как положено всякой уважающей себя девушке. Но в ее день рождения он явился прямо в класс с розой и коробкой конфет. Он начал говорить ей «Мария Сергеевна» и «Вы». Он встал на уроке русского языка и заявил толстому лысенькому Лопашке – Борису Игоревичу Лопашкину, – назвавшему Машу «бездельницей»: «Будьте любезны извиниться и никогда больше не оскорблять даму!» Брови у Лопашка поползли на лоб, он усмехнулся и с полупоклоном сказал: «Извините, Бога ради, уважаемая Мария Сергеевна!» Маша залилась краской, уткнулась в парту и прерывающимся голосом прошипела: «Погорелов, прекрати!» – но губы ее расплылись в такой улыбке, что Погорелов еще два дня ходил по школе гоголем, пока рассказ о его эскападе обрастал все новыми и новыми подробностями.

Важной составляющей ситуации, было отношение Маши к Погорелову; сейчас бы я назвал это так: она не поощряла его ничем. Если он хотел подать ей пальто – она просовывала руки в рукава; если он просил разрешения перенести из кабинета в кабинет ее сумку – она милостиво давала такое разрешение, если он утром Восьмого марта становился перед ней на одно колено в школьном коридоре и вручал ей веточку мимозы – она принимала ее, но ограничивалась сдержанным «Спасибо». Класс следил за развитием ситуации вот уже два месяца, умирая от любопытства и исходя слюной, и главной солью происходящего был, несомненно, тот факт, что наши-то с Машей отношения совершенно не изменились – по крайней мере, для стороннего наблюдателя. Мы по-прежнему сидели за одной партой, вместе дежурили по классу, вместе ходили домой и выручали друг друга, когда надо было отмазываться от учителей. Между собой же мы просто никогда не говорили о Погорелове, ни разу, как бы молчаливо решив считать его курьезом, смешной и странной фигурой, не имеющей никакого отношения к нашей дружбе.

И все-таки это не было правдой до конца. Например, я не мог не заметить, что Маша расцвела с начала этой истории, что она стала, кажется, подкрашивать ресницы, что в один прекрасный понедельник она пришла в школу в юбке, укороченной как минимум на пять сантиметров. Сам же я почему-то все время раздражался и все чаще – в её адрес: меня злило, если она опаздывала хотя бы на пять минут, я бесился, когда она долго не подходила к телефону и обижался, если на лабораторной она садилась не со мной, а с кем-нибудь из девчонок. Но, странное дело, – я никогда не выражал свои претензии вслух и даже в некоторой мере делал вид, что Маша мне, по большому счету, не очень-то и нужна. При этом я вдруг, ни с того, ни с сего начал думать, что мы с Машей ни разу не целовались. Я целовался уже несколько раз, и все с разными девочками, одна из них, Марина, дочь маминой сотрудницы, провела со мной целых три часа в тягучих, медленных, обрывающих сердце поцелуях на чьем-то дне рождения, но мысль целоваться с Машкой до возникновения казуса Погорелова ни разу не приходила мне в голову – а теперь вдруг начала приходить. Я с изумлением обнаружил, что представляю себе этот момент в мельчайших подробностях – мы стоим в каком-то полутемном месте, не то в сарае, не то просто в подъезде, у меня в ногах валяется мой портфель и сильно мешает мне стать поудобнее, я держу Машу одной рукой за талию, а другой – за шею, как меня научила все та же волоокая Марина, и жду почему-то не прикосновения ее губ к моим, а прикосновения ее челки к моему лбу... Эти мысли смущали меня, Машка была мне вроде

сестры, нас даже не дразнили «женихом и невестой» – но чем чаще совершал свои эскапады мой «достойный враг» Погорелов, тем чаще я замечал, что смотрю на Машку какими-то новыми глазами. До сих пор Погорелов ни разу не приглашал ее на свидания, но в прошлую пятницу он догнал нас у калитки, обогнул и преградил нам дорогу. Он слегка запыхался, лицо его было бледно, но взгляд пылал решимостью. «Мария Сергеевна,» – сказал он, несколько теряя дыхание, – «Разрешите пригласить Вас в кино.» На секунду у меня почему-то возникла неожиданная мысль отбросить китайские церемонии и просто задвинуть ему между глаз, но тут Маша посмотрела на него со спокойной грустью (я вспоминаю этот взгляд до сих пор, и чем больше лет проходит с той пятницы, тем больше я узнаю о женщинах, просто вспоминая этот самый взгляд) и сказала: «Нас – в кино? Хорошо, мы придем». И мы пришли, и до сеанса оставалось пятнадцать минут, а мы стояли в буфете, и Погорелов платил за всех.

Был понедельник, дневной сеанс, а иначе бы мы, может, и билетов взять не смогли, потому что фильм был американский и только вышел в прокат. На нарисованной от руки афише было строгое ястребиное лицо мужчины с черными волосами и дальше, в глубине, лицо белобрысенького мальчика. Ниже воинственными буквами было написано: «Крамер против Крамера», и мелким шрифтом – «драма». Я предположил, что это фильм про боксеров, а маленький мальчик взят кем-нибудь из них в заложники и за него требуют выкуп. Маша высказалась в том плане, что это про двух братьев-шпионов, одного нашего, а другого ихнего. Было совершенно непонятно, как такое могло случиться с братьями. Упорно глядящий мимо меня Погорелов выдвинул версию, что это фильм про раздвоение личности, немедленно взбесив меня своим умничаньем.

Сидения в кинотеатрах обычно были бархатными, наверное, бархатными они были и в «Орбите», я не запомнил, а теперь уже не проверишь, там все перестроено десять раз, и на месте, где Погорелов восемью монетками заплатил за три молочных коктейля, стоят игральные автоматы – кидаешь монетку, три, пять, восемь, двадцать, и если тебе повезет, то монеты, вброшенные твоими менее терпеливыми предшественниками, просыплются на тебя увесистым серебряным дождем. Один раз я связался с подобным автоматом где-то в районе метро Черкизовская, года два или три назад, я был очень плох, пьян, голоден – не от нехватки денег, а от того, что противно было есть, меня оставила женщина, перед которой я был совершенно ни в чем не виноват. Оставила так: вошла утром в спальню, сказала: я ухожу от тебя и уезжаю из города, и через десять минут ушла, не объяснив мне совершенно ничего, я больше никогда ее не видел и не слышал, как если бы она умерла, и до сих пор не знаю, что произошло. В тот вечер я сам хотел умереть и связался с этим дрянным автоматом, скормил ему сто рублей монетами по пять, а потом в ярости обменял по пять пятисотенную бумажку – и на двадцатой или тридцатой монете ненасытная машина наконец сработала, вся эта куча пятаков стала моей, и в ней набралось едва ли не меньше пятидесяти долларов, и эта мизерная, издевательская подачка судьбы привела меня в состояние глубокого горя, - как если бы мне был дан недобрый знак о том, что уже свершилось и продолжало свершаться и было неумолимо.

Я почему-то не вспомнил в тот момент о начале девяностых, когда пятьдесят долларов показались бы мне манной небесной, и уж конечно не вспомнил, как директор рекламного агентства сказал своему новому работнику, мистеру Крамеру: «Вы отдаете себе отчет, что ваша зарплата будет составлять меньше сорока тысяч долларов в год?» – а у меня отвисла челюсть, я уже понимал, что такое доллар, но не понимал, что жить на сорок тысяч в год с ребенком было не слишком сладко даже в 1979 году, когда снимался этот фильм, самый душераздирающий фильм из всех, какие мне доводилось видеть. Сорок тысяч в год – это казалось мне невероятным богатством, я подумал: господи, да у него столько бабок, он может купить самолет и улететь со своим сыном к черту на рога, куда-нибудь в

Аргентину, где их никто не найдет, и всю жизнь валяться на пляже, наслаждаясь морем и песком и смеясь над этой безжалостной сукой, я сам бы просто спустил ее с лестницы, если бы она бросила меня, а потом пришла отбирать моего ребенка. Я и сейчас неплохо помню фильм, но совершенно забыл, чем он кончается; так или иначе, я понимаю, что это фильм о трех людях, – двух больших и одном маленьком – попавших в ужасную ситуацию, в переделку, какой не пожелаешь и врагу.

Тогда же я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого бросила мама, и немолодым мужчиной, чья жена в один прекрасный вечер сказала: я ухожу от тебя и уезжаю из города, и через десять минут ушла, не объяснив ему совершенно ничего. Я с ужасом наблюдал правосудие, в котором какие-то безжалостные люди бессовестно манипулировали словами и отбирали у мужчины сына, а у ребенка отца. Я не понимал многих мелких деталей, особенно юридического толка, но помню, как сидел, ощущая ладонями мерзкий бархат в рубчик, который до сих пор не переношу на ощупь, и впервые в жизни ощущал хрупкость мира, усиленную неестественными интонациями дублеров и не очень хорошим качеством пленки, из-за которого все казалось ломким и готовым надорваться в любой момент. Я впервые в жизни чувствовал, как почва уходит у меня из под ног: я не верил, что меня могут бросить родители, но во время этого сеанса мне, кажется, впервые в жизни пришла в голову мысль, что они могут умереть. Я вдруг представил себе, что с каждым, кого я знаю, меня связывают тонкие бумажные гирлянды, вроде тех, какими Крамер и Билли украшали елку, и стоит неловко дернуть, как с треском порвется бумажное колечко, связь распадется и я останусь один в холодном пустом космосе, – и, главное, ничто не может спасти меня от этого, потому что как бы бережно я ни относился к этой хрупкой гирлянде, ее могут дернуть с другого конца – и чем сильнее я буду цепляться за нашу связь, тем скорее порвется цепочка.

Мне казалось, что так, как я сопереживал Крамеру, я сопереживал только в детстве – скажем, Бременским Музыкантами или уходящему от преследований капитану Врунгелю, и когда Крамер и Крамер заплакали, обнявшись (ага, оказывается, я помню, чем заканчивается фильм, но с какой неохотой!) – я с ужасом обнаружил, что сижу с полными глазами слез. Я попытался закинуть голову, но они уже текли вниз, потом я попытался проглотить их, но от них только сделалось солоно во рту, и тут поползли титры и свет начал зажигаться, я вскочил и стремительно повернулся спиной к Маше и Погорелову, который незамедлительно спросил: «Анцелевич, Вам плохо?» – я ломанулся в вестибюль и оттуда в туалет и там провел минут пятнадцать, остужая лицо под ломкой струйкой воды из крана, и когда я вышел, я увидел, как Маша дотрагивается до рукава синей Погореловской куртки – и меня скрутило, я как-то забыл весь свой пафос, и сложность наших «высоких отношений» с Погореловым, и мою «не-ревность», и вообще всю эту бессмысленную мишуру, я подскочил к ним и схватил Машу за руку и поволок за собой, мы вылетели через служебный ход кинотеатра, прорвавшись сквозь грозное подвывающее «Кудыбы?» какой-то тетки, и там, на заднем дворе, я орал на Машу, что она не перезвонила мне вчера вечером, что она не вернула мне мою тетрадь по физике, что я не буду с ней больше дружить, а она может ходить с кем хочет за ручку и пусть хоть целуется со всякими мудаками, у меня текли слезы, но я ничего не мог с ними сделать, она рванулась уйти раз, и другой, и третий, я хватал ее за рукав и разворачивал к себе, я так орал, что на нас начала кричать всё та же тетка, мне было наплевать, я повторял одни и те же фразы, даже скручиваясь от слез и крика, а Маша уже стояла и никуда не шла, а потом, когда я просто взвыл и уткнулся лицом в собственный рукав, она обняла меня обеими руками, как ребёнка, и в этой нелепой и неудобной позе мы постояли некоторое время, её чёлка щекотала мне лоб и я, кажется, в первый раз плакал на плече у женщины, а всего таких разов в моей жизни было два.

Через месяц я начал встречаться с Катей Адамовой, которая долго рассказывала мне полунамеками про «одного мужчину» и разрыдалась, когда на пятом или шестом свидании я попытался погладить ее бедро под юбкой. Мы с Машкой обсудили эту ситуацию и пришли к невероятному выводу, что Адамова девственница.

Великобритания, 9.870 м над уровнем моря

Вот они начали просыпаться, снова везут тележку, громыхают бутылки, прозрачные стаканчики стайками рассыпаются по салону, хасид захлопывает книжечку, в бутылке ещё плещется, плещется ещё, как затекли ноги. Монахиня говорит о чём-то со стюардессой, – по-французски.

Проход впереди свободен. Все мужчины сидят. Морж, правда, проснулся, но он по голову в «Альгеймайне Цайтунг», – пока очухается, пока то да се... Хотя бог их знает, этих неповоротливых млекопитающих, где они в молодости служили и чем вообще занимались в жизни до первого шага по карьерной лестнице в Raiffeizen или Deuche Bank. Если вообще, то сейчас. Если вообще, то сейчас.

Я наклоняюсь к рюкзаку, запускаю в него руку, чувствую холод стекла, отодвигаю стекло, чувствую холод металла, я встаю, перед глазами плывёт, я сажусь. Потом встаю опять, медленно выпрямляюсь и, пошатываясь, натываясь на кресла, иду в туалет. Блевать. Хасид укоризненно бросает короткий укоризненный, когда меня бросает на его соседку, californian blonde с длинными накладными ресницами.

– Sorry, sorry, – бормочу я на ходу, – и с облегчением повернув задвижку, встречаюсь с собственными глазами в зеркале.

Boston, MA

– But you know... There's one more thing I have to tell you. I'm lesbian.

Мы переглянулись. Я почувствовал, что Маша сейчас не выдержит и улыбнётся. Тогда я быстро спросил очень серьёзным тоном.

– You say it because you think it will affect your work? – Терри, явно приготовившаяся на всякий случай к обороне и вооружённой защите gay pride, слегка растерялась.

– No, noway.

– Then it's okay. Right? – Я взглянул на Машу, которая старательно прятала улыбку, но тут уж не выдержала и притворилась, что закашлялась.

– Yep, it's fine.

Терри появилась в доме по той единственной причине, что предыдущего бэбиситтера, Джейн, дебелую студентку факультета истории искусств Университета Бостона, пришлось уволить. Мы вернулись с дня рождения Мирры, а на следующее утро Лиза, болтая ножками на высоком стуле и поедая блины, – настоящие, Маша отказывалась кормить ребёнка панкейками из полуфабрикатов, – заложила Джейн с поторохами.

– Why are you rubbing your eyes, honey? Haven't you slept well? – спросил Мартин.

– They were yelling all night.

– Who?? – Маша оторвалась от плиты.

- Jane and that guy.
- What guy? – Мартин присел возле Лизы. – Tell me.
- I don't know, - that guy. But they were yelling right downstairs. And she was yelling: “Never come again”, and he was yelling “You, stupid witch”. And then I heard the door slap. Is Jane a witch, really?? A real witch??

Мартин посмотрел на Машу, Маша посмотрела на меня и сказала по-русски:

- Давай, Лиза, заканчивай с блинами и иди, свой костюм примерь, а то уже мы скоро к бабушке с дедушкой поедим, не успеешь.

Лиза быстро цапнула последний кусок блина с арахисовым маслом, запихнула его в рот и побежала наверх.

- Руки помой!

- Хорошо, – крикнула та.

- So, it's “stupid witch”... Thank God for this bastard's bad pronunciation, – задумчиво сказал Мартин и добавил – Don't you think we need a new babysitter?

Терри была уже четвёртой. До неё была слабослышащая, не владеющая английским мексиканская домохозяйка, подруга уборщицы. Ещё была девушка, младшая сестра интерна из клиники Мартина, – эта очень хорошо сходилась с Лизой, очень – но именно в силу того, что никакой разницы в умственном развитии между ними не наблюдалось. Третью претендентку, Димину дочь, мы взять никак не могли, хотя она всем была хороша. Но Дима был страшно недоволен, ворчал, что нечего заниматься глупостями вместо подготовки к SAT и заранее взял с Маши клятву, что Катя останется безработной, и мы не могли нарушить эту клятву – никак.

“Мы не могли”. Я всякий раз оказывался внутри этого “мы” с такой же лёгкостью, с какой человек, накурившийся травы, обнаруживает себя в телевизоре, среди действующих лиц очередного фильма с Брэдом Питтом или Гвинет Пэлтроу в главной роли. Если хочешь сохранить рассудок, ты вынужден всё время напоминать себе, что трип через полчаса закончится. Настоящие trippers не утруждают себя такими глупостями, – и приход, разумеется, у них в десять раз сильнее, тормоза придумали трусы. Но отходняк, отходняк, страшно представить. Если хочешь избежать абстиненции, помни, не забывай, что ты сидишь с ней и выбираешь бэбиситтера только потому, что Мартин уехал на срочный вызов к очередной шиншилле или морской свинке, а она сказала тебе:

- Слушай, ну посмотри на них вместе со мной. Свежим глазом, а?

И ты сидишь, смотришь свежим глазом, американские девочки-подростки, глухая мексиканка, но видишь ты только одно: старое издание “Тома Сойера”, ещё советское, привезённое Машей из неизвестно каких соображений, из сентиментальных, должно быть, видишь и понимаешь, что точно такой же обшарпанный розовый том стоял на полке в твоей московской квартире, пока не перекочевал год назад к Андрею, десять лет – как раз подходящий возраст для Марка Твена, так мне показалось.. И ты теряешь ощущение места и времени, – если немедленно не выдохнуть сладковатый дым, не вынырнуть сейчас же, то тебя так накроет этой водой, что жабры, которые ты отрастил за последние две недели, ничем тебе не помогут. Выдыхай, бобёр, выдыхай.

Выдохнуть пришлось через два часа, – когда Лиза помахала мне лапкой через заднее стекло «Лексуса», в котором они втроём отправились обедать к его родителям. Маша заранее извинялась, что вот, в Хэллоуин им придётся бросить меня днём на три часа. потому что оба старших О'Брайена соскучились по внучке, откладывая они уже три раза откладывали, и ради бога прости, но правда же ты пойдёшь с нами to trick-or-treat, пойдёшь же, пойдёшь же? Пойду же, конечно, но до этого, раз такое дело, сметаюсь на

Carpe Cod, хорошо? Дадите мне вторую машину? «Лексус» принадлежал Мартину, мне досталась ее «Тойота».

Бип-бип, – сказала «Тойота», – бип-бип, а внутри, поразительным образом, ничем не пахнет, уж не знаю, чего я ждал, – ничем кроме пластика и освежителя в красной баночке, формой напоминающей флакон «Клима». Я не достаю ногой до сцепления, – ну, то есть, достаю, но как-то плохо, шарю рукой за спиной, слева, слегка придвигаюсь, пристёгиваюсь, ремень провисает на груди, я как будто пытаюсь поместить себя в очерченное Машинным телом пространство – и понимаю, что от желания у меня сейчас затрясутся руки, и быстро вставляю ключ, поворачиваю, смотрю на себя в зеркало, поднимаю козырёк, наконец, выдыхаю. «In this kind of situation you have to really control yourself», – говорит радио в тот момент, когда я выворачиваю на Шестое. «Спасибо, – отвечаю я вслух, – это прекрасный совет. Прекрасный. Знать бы, кого благодарить». “You are listening to NPR. – с готовностью отвечает радио, – this is “The Connection”. I'm Dick Gordon”.

На небольшой стоянке, обнесённой деревянной оградой, стоял только тёмно-серый «Шевроле», – серый волк, серый шёлк, серый Париж. Тойота хихикнула, я спрятал брелок в карман, подошёл к краю обрыва. Здесь не было ничего, кроме неба, песка и сосен. По песку, усыпанному хвоей, стелились перевитые корни, чуть ниже, в зарослях то ли брусники, то ли клюквы прыгала небольшая птичка. Прибалтийский пейзаж. Келомякки. Комарово. Я закурил сигарету и стал спускаться вниз, к асфальтовой, шириной ровно в две машины, дороге.

Полтора часа прогулки – вверх-вниз, вверх-вниз – по поросшим невысокими деревьями дюнам, солнце и ветер, небольшие рваные облака совсем уж неизвестной породы, пять плёнок. За всё это время единственным звуком, нарушавшим тишину, оказались звоночки и негромкие переговоры двух велосипедистов – видимо, отца и дочери, круживших в том же квадрате. Я долго смотрел на выпиравшие прямо из песка подосиновики с тарелку размером, но решил, что – нет, конечно, блины блинами, но есть дикорастущие грибы – это слишком. Вышел к океану, сел прямо на песок и прислонился спиной к стволу. Я думал о том, что, конечно, я был прав, здесь Тот свет, не Этот. Новое небо и новая земля, ни печали, ни боли, ни воздыхания, – и вспомнил разговор с приезжавшим в Москву коллегой, Фредом Эпстайном. Он был фотографом божьей милостью, который, к тому же, как никто разбирался в русской фотографии и всё просил познакомить его с Максимишиным и Мохоревым. Утопия, – говорил я, – это же ou topos, земля которой не может быть – где вы живёте. А он отвечал: нет, поверьте мне, я там живу, я знаю, это не Утопия.

Может быть и нет, но это всё равно земля, которой не может быть – идеально ровное разматывающееся шоссе с горящими в темноте фонариками разметки, десятки тысяч кукол в «Toys'R'Us», по которому я, выбирая Андрею подарок, бродил два часа, – прежде чем. Знак “Hidden driveway” в посольском квартале Вашингтона, совсем уж что-то из «neverhood», из книжек про Гарри Поттера, Хогвартс-экспресс. Ничего не боящиеся белки возле Капитолия, купальщица Энгра, уткнувшаяся в гору сэконд-хэндовских тряпок при входе в один из залов Хиршхорна, холмы и городки, приколотые к поверхности земли серебристыми шпильями, огромная ива на берегу залива в Милфорде, и небо, – всё это время я думал о том, что у них здесь с небом, – оно как только что появилось на свет. Смеющееся, с редкими облаками, заведомо бесконечное, вечно молодое небо, которое никогда не упадёт, никогда не свернётся, как бумажный лист, никакая молния не прорежет его из края в край, только вон, летит самолёт, закладывает вираж чайка, – ни печали, ни боли, ни воздыхания, время не кончилось, не завершилось, а просто встало,

отряхнулось и ушло. Лимб – вот слово. Такая тишина, такие облака, такие холмы, реки, – будет ласковый дождь, – а пока – ни муки, ни радости, велосипедный звонок вдалеке, девчачий голосок, дрожащая красная ягодка посреди кожистых тёмно-зелёных листьев. Сизый силурийский океан, ветер ерошит волосы, – ни единого кораблика до самого горизонта, – не вздумай назвать это место Армагеддоном, а то с Тебя станется. Don't even think about it.

Часов с собой не было, я вытащил из кармана двухдиапазонную Motorola с ивритскими буквами на клавишах, специально временно выменянную перед поездкой на привычный Siemens, пора, наверное, не хочется возвращаться в темень.

До темноты я всё-таки не успел и всё гадал по дороге, хватит ли у Лизки выдержки. Когда я вчера спросил её, в чём она будет на Хэллоуин, она отвлеклась от телевизора, встала с дивана, молча покрутилась передо мной в джинсах и футболке и села обратно.

– То есть, ты хочешь мне сказать, что это и есть твой костюм?

– I don't need it.

– Но почему?

– Because Halloween is for kids.

– Ты хочешь сказать, что ты уже взрослая?

– No. I'm not a grown-up. It's just that I'm responsible. Kids are not.

Тут я почувствовал, что не готов дальше продолжать разговор и предоставил ответственной барышне следить за перипетиями какого-то чудовищного японского мультика по Cartoon Network.

Я представлял себе Halloween совершенно по-другому. В районе было так же тихо, как обычно, – только на домах светились гирлянды, за оконными стёклами мерцали фонарики, свечи горели неровным пламенем в выдолбленных оскаленных тыквах. Тишина нарушалась только повизгиванием совсем уж маленьких детей, звоном непонятных колокольчиков и тихими разговорами родителей.

– Я когда жил в Нью-Йорке, мальчишкой ещё, – вполголоса рассказывал мне Мартин, пока Маша с Лизкой хором говорили “Happy Halloween!”, подставляя шляпу под очередную порцию леденцов, шоколадок и jelly beans, – там рядом был квартал из одних балканских эмигрантов, то ли венгры, то ли хорваты – здоровые такие лбы, насупленные, по-английски почти не говорят. Так вот приходят они на Halloween, звонят в дверь, дети стоят на пороге, молчат. А за ними маячат эти биндюжники в чёрных костюмах при галстуках – праздник же. И я быстро-быстро насыпаю конфет, потому что у меня всё время ощущение, что они сейчас достанут такие автоматы, знаешь, как в фильмах про сухой закон, – всалят в меня пару рожков, заберут все мои конфеты и дальше пойдут, в следующую квартиру звонить.

Возле очередного дома на газоне лежал светящийся скелет, как будто всплывший из травы – я вздрогнул, а Лизка бросилась поправлять ему неловко отставленную ногу. Тут с крыльца посыпались дети – Бэтмэн, Человек-Паук, Хальк, совсем мелкий ангел в розовом платьице и две принцессы – одна в диадеме, другая в бабочкиных крыльях. За детьми шли мамы – одна в бутафорских очках, закрывающих пол-лица, а другая – с нарисованными веснушками и в колпаке.

– Happy Halloween! Happy Halloween! – закричали дети.

– Окау, окау, – сказала одна из мамаш, – whom do we have here? – Но осеклась, увидев, что на Лизке никакого костюма нет

Лизка насупилась и только было открыла рот, чтобы ответить, но так и не нашлась. Кажется, она уже жалела о своей принципиальности. Губы начали предательски кривиться, и я понял, что надо спасать положение.

– Иди сюда на секундочку.

Она отошла со мной в сторону, и я сказал:

– Tell them you're a serial killer. They look just like ordinary people.

Она так и сделала, с огромным удовольствием, – кто бы сомневался.

– Ага, – Машу это явно развлекло. – А ещё она могла сказать, что на ней костюм Wednesday Adams, на которой костюм serial killer, которые выглядят как ordinary people, right?

– Ну, знаешь, это уже какой-то постмодернизм.

Она рассмеялась. Лизка утомилась примерно на пятнадцатом “trick-or-treat”, а конфеты всё равно уже никуда не помещались.

Маша водрузила шляпу на стол в гостиной, посмотрела на часы и сказала:

– Давай спать, birdie.

– I'll take care of it, – Мартин затопал по лестнице наверх. Лизка хихикала и висла на нём.

– Okay, okay, honey, that's enough, be good, please...

Мы вышли на крыльцо.

– Есть у тебя сигарета?

– Есть, конечно. – Я сдернул целлофан с последней московской пачки. – А вот завтра придётся что-то уже придумывать. Отвезёшь меня в магазин?

– Конечно. Как тебе на Cape Cod, расскажи.

– Знаешь, это одно из самых невероятных мест в мире. Кажется.

– Ну вот. А мы туда за грибами ездим.

– Грибы видел, да. Таких не бывает. У вас хорошо очень, ты знаешь?

– Спасибо тебе.

– Нет, правда. У меня много знакомых уехало, друзей, я иногда, про некоторых, не мог понять, зачем это. Потому что есть люди, которые явно для жизни в этой стране появились на свет. А про некоторых — про тебя, например, – это непонятно. А вот когда я вижу всё это, я понимаю, кажется. И тут уже неважно, что ты говоришь – вот работа-дом, работа-дом, неважно, что рецессия, что Лизка почти не говорит по-русски. Это какая-то такая жизнь, которой вот у меня никогда не будет, я где-то давно эту возможность проебал – дом, дети, собака, Рождество, стариться вместе, танцевать под какую-нибудь “What are you doing the rest of your life” на собственной серебряной свадьбе. Или на золотой даже.

– Ты же понимаешь, что это тоже имеет свою цену.

– Я понимаю. И она, наверное, большая. И я не уверен, что я бы хотел заплатить эту цену. И что я могу её заплатить. Проблема в том, что у меня уже никогда не будет такой возможности.

– Ну почему? Тебе тридцать лет, в этом возрасте по здешним понятиям даже жениться ещё рановато.

– Я три раза уже пробовал жениться, да? И не в возрасте дело. В чём-то другом.

– Тебя это мучает?

– Меня всё мучает, ты же знаешь.

Она не продолжила шутку, а погладила меня по голове – быстрым, коротким движением, почти украдкой, потом поискала, куда деть окурок, я взял его, коснувшись пальцами пальцев, пальцы дрогнули, я выдержал и это, не придвинулся к ней, не сделал шаг. Несколько секунд медленно проплыли между нами.

– Какие мы всё-таки хорошие зайчики, а? – сказал я с горечью.

– Ага.

Поднялся ветер, и светящиеся happy ghosts чуть-чуть тренькали о стену дома. Я докурил молча, а она смотрела на меня – тоже молча.

– Папа? Привет. Да, всё в порядке, я в Бостоне. У вас всё хорошо? Ну как сказать, через неделю, скоро уже. Нет, из Нью-Йорка, из JFK. Послушай, у меня вопрос. Вот помнишь, была такая болгарская пластинка – «Лучшие вокалисты джаза», что-то такое? Ага. Да. Если тебе не трудно – посмотри, пожалуйста, на какой стороне там песенка Синатры – «What are you doing the rest of your life» – и какая по счёту, а? Я подожду, конечно. Третья. Вот мне казалось, что то ли третья, то ли четвёртая. Нет, низачем. Я вспомнил просто. И ещё скажи, я правильно помню, что там какая-то цветастенькая обложка, яркая? Спасибо тебе большое. Да, я позвоню ещё, обязательно. Нет. Встречать не надо. Маме привет. Пока.

12 октября 1986 г.

Утро – это передача “Опять двадцать пять”, полчаса шуток и песенок, которые с возрастом кажутся всё менее смешными и к четырнадцати годам в целом начинают раздражать. Утро – это овсянка, чай (тёмно-вишнёвая заварка в стеклянном чайнике, бутерброд с сыром, темнота за окном, дождь, ветки, не опоздать в школу). Первый урок – русский язык, крохотная дама Дина Ивановна. Началось с того, что никаких анекдотов (женский и мужской голоса – наперебой) не было, а были новости, – все уже начали привыкать постепенно к тому что новости становились чуть ли не интереснее всего остального, медленно становились собственно новостями, небывалое дело.

Отец сидел за столом, у приёмника, ручка громкости вывернута почти на максимум, я поморщился, – и это были никакие не голоса, а самый обычный “Маяк”. Овсянка булькала на плите в маленькой кастрюльке. Из ванной мне был довольно хорошо слышен голос Горбачёва, как-то странно, непривычно подрагивающий: “Поскольку мы соглашаемся заняться глубокими сокращениями ядерных вооружений, то мы должны создать такое положение, при котором не то, что фактически, но даже в мыслях не должно быть сомнений в том, что другая сторона захочет поколебать стратегическую стабильность, отойти от договоренности. Стало быть, мы должны иметь уверенность в сохранении бессрочного характера договора по ПРО”. Я выдавил пасту из тюбика и посмотрел в зеркало.

Первое воспоминание о говорившем было такое: я иду по Калининскому Проспекту, – теперь Новому Арбату, – зимой или ранней весной, а он двигается на висевшем в начале проспекта цветном экране – чуть ли не единственном в городе. Звука нет, только изображение, генеральный секретарь, очень молодой по меркам генеральных секретарей, открывает и закрывает рот перед микрофоном, и некоторые квадратики на экране неисправны, не горят. Так они и гасли в последующие годы, до самой последней, чёрно-белой августовской вспышки: расстёгнутая рубашка, растерянный взгляд, трап в свете софитов, – а потом погасли насовсем. Экран сняли в начале девяностых.

Советской стороной было предложено 50-процентное сокращение стратегических наступательных вооружений как по носителям, так и по боеголовкам всей стратегической триады – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках, а также бомбардировщиков. В целях достижения компромисса мы выразили готовность в рамках соглашения значительно уменьшить количество тяжелых баллистических ракет и их боеголовок, которые составляют предмет особой озабоченности США. Нам удалось прийти к компромиссу по этому вопросу.

Дина Ивановна, учительница русского языка, что Вы думали в это утро, под эти самые новости? Вспоминали своё детство и корзину пшёнки, выменянную мамой на пару

золотых серёг? Смотрели на внучку? – или память снова подводит меня, добавляя взрослым лишнего возраста? Через год вы поправите меня: эта строчка у Гумилёва звучит не так – и я пойму, что вы-то, в отличие от меня, прочли расстрелянного белогвардейца давным-давно, просто хранили его под спудом проверенных тетрадей с сочинениями, между страниц старого учебника по литературе. О чём вы думали? О том, что, может быть, наконец, всё закончится и войны не будет, не станет оправдания у вечной нищеты – “только бы войны не было”?

Учитывая интересы европейских государств, советский Союз предложил полную ликвидацию ракет средней дальности СССР и США в европейской зоне. При этом ядерные вооружения Англии и Франции остались бы вне наших договоренностей. По этому вопросу нам удалось прийти к соглашению.

Павла Георгиевна, учительница географии с пучком седых волос, член партии бог весть с какого года, а что насчёт Вас? Что вспомнили вы? Выпускной сорок первого года? Ваську, который писал-писал вам письма, а потом вдруг перестал, и Вы только через двадцать пять лет узнали, что он и двух месяцев не прожил после того июньского утра? Товарняк на Белорусском вокзале, из которого в июне, в июне, наконец вывалился Ваш отец, – счастливый, небритый, худой как скелет, его тепло, и глаза, и голос? Или тех, кто через три недели его снова забрал посреди ночи, чтобы дать ему 25 лет за КРТД – и больше Вы никогда уже его не видели?

Мы пошли гораздо дальше, предложив сокращение ракет средней дальности. В азиатской части СССР вооружения были бы сокращены до уровня 100 боеголовок; США, согласно этим договорённостям, получали право иметь на своей территории такое же количество боеголовок на ракетах средней дальности. Ракеты с дальностью меньше чем 1000 км подлежали бы замораживанию с незамедлительным началом переговоров о сокращении этого вида ядерных вооружений. Было внесено предложение о начале переговоров, имеющих целью полное прекращение ядерных взрывов, с учетом того, что в ходе этих переговоров можно было бы решать интересовавшие США частные вопросы, относящиеся к этой проблеме. И здесь нам удалось прийти к согласию.

Рувим Лазаревич, военрук, а Вы? Ваша мама ехала в эвакуацию из Латвии с родителями и вышла набрать воды. Она отстала от поезда, но уехала на следующем, а родители вернулись ее искать и сгинули в Даугавпилсе, в лагере. А когда она, вслед за советскими войсками, вернулась в Латвию, полька, котрой мать оставила драгоценности, вернула ей всё – до единой серебряной заколки, – кроме одного колечка, стоившего три буханки хлеба в самые плохие времена. О чём Вы думали? Я знаю, что люди вроде вас работают на войне, это их хлеб, – щёлк-щёлк – сборка-разборка автомата, – Торшин, прекратите балаган, – но тогда, в это утро, скажите, Вы думали о войне, о её конце – навсегда, насовсем?

Мы предлагали американской стороне следующее: СССР и США обязались бы в течение 10 лет не пользоваться имеющимся у них правом выхода из бессрочного Договора по ПРО и в течение этого периода строго соблюдать все его положения. Запрещаются испытания всех космических элементов противоракетной обороны в космосе, кроме исследований и испытаний, проводимых в лабораториях. В течение первых пяти лет этого десятилетия (до 1991 года включительно) будут сокращены на 50% стратегические наступательные вооружения сторон. В течение следующих пяти лет этого периода будут сокращены оставшиеся 50% стратегических наступательных вооружений сторон. Таким образом, к исходу 1996 года у СССР и США стратегические наступательные вооружения были бы ликвидированы полностью.

Лидия Васильевна, математичка, секретарь партийной организации школы, – когда Вы стояли тем утром, глядя из окна пятиэтажки на дождь и ковёр жёлтых мокрых листьев во дворе, – о чём вы думали? Вспоминали маминого брата, погибшего под Нарвой в сорок четвёртом? Или младшего, выпущенного в сорок втором и не вернувшегося с Курской дуги, – об этом Вашей маме рассказали в пятьдесят седьмом – когда выдавали справку о посмертной реабилитации? Или нет, наверное о своих детях, – о том, что им может быть, всё-таки, есть шанс – не придётся спускаться в бомбоубежище и надевать Общевоинской Защитный Костюм – путаться в слишком большой, не по размеру, толстой резиновой куртке?

К сожалению, нам не удалось прийти к согласию относительно будущего системы Стратегической Оборонной Инициативы, а также найти компромисс, позволяющий сохранить договор по ПРО. В этих условиях мы не считаем возможным далее идти на уступки американской стороне. Не считаем возможным осуществлять сокращение стратегических вооружений одновременно с развёртыванием американской стороной системы СОИ.

Я вышел на кухню. Отец посмотрел на меня.

– А я уже думал, что останусь без работы.

Мне было четырнадцать лет. Я понимал, что они говорят. Что не хватило совсем чуть-чуть, один зубчик не зацепила шестерёнка, колёсико не провернулось до конца по случайности, что-то застряло, война не отменяется.

И тогда я вдруг понял, что мой детский страх куда-то делся, теперь он шевелится только там, под календарной водой, на кафельном полу школьного вестибюля, в радиорубке, на дачной веранде – а здесь остались только слова, от которых сосёт под ложечкой, но едва, вчуже, едва – Энола Гей, семь минут, загоризонтные РЛС, позавидуют мёртвым, – но сердце цело, не останавливается, продолжает, идёт. Отец действительно останется без работы – но не сейчас, через несколько лет, когда РЛС станут никому не нужны, потом ракеты перенацелят в океан, потом договор по ПРО исчезнет с лёгким хлопком – немного дыма и немного пепла.

На втором уроке мы писали диктант, – скоро конец четверти. За окном ветер раскачивал голые ветви, последние листья налипали на стекло, лампа дневного света подмигивала с едва слышным жужжанием. Маша сидела на второй парте, наискосок от меня, чуть наклонив голову.

– Дуб – дерево, — диктовала мерным голосом Дина Ивановна, – роза – цветок...

Аэропорт Орли, Франция

Короткая стыковка, всего полчаса, длинный коридор, хорошо, что здесь негде покурить – да и некогда, – а то сигарета свалила бы меня сейчас с ног – двойной хук в солнечное сплетение, откуда поднимается тошнота. Некогда покурить, некогда добежать до газетного киоска, до телефона-автомата, мобильник ловит, но проку от него никакого, fuck, fuck. Кажется, я совсем плох, меня трясет, сильно болит голова. Я держу руку в кармане, не стал возвращать его в сумку. Улыбчивая девушка с положенным “Bonjour” отрывает от

посадочного талона корешок, скармливают его непонятному автомату, и я топаю по кишке ко входу. У входа дают газеты, и их запах вызывает у меня приступ чудовищной тошноты. Я хватаю все, какие могу, собираю с лотков все газеты – русских нет, fuck you, fuck you, французские, я все равно беру их, еще одна “Herald Tribune”, хотя уже знаю, что в ней ничего нет, разворачиваю на ходу “Фигаро”, протискиваюсь к своему – попросил у прохода, навалившись всем телом на стойку и дыхнув на девушку нехорошо, – сиденью – ни слова не понимаю, испанская корова, – но тут же впечатываюсь в чёрно-белую, как нарочно, фотографию – здание, голые деревья, толпа, обрезанная омововская каска высовывается из-под нижнего края кадра...

Холод металла, холод стекла. У меня осталась треть бутылки, я почти винтом вливаю её в себя, мне уже плевать на взгляды стюардессы, все расселись, а у окна у нас кто? Никто? Блядь, где ты была, девочка, до того, как я сел? Справа стоит белокурый ангел лет восьми с забранными лентой локонами до попы.

– Sorry, sir, may I...

– Fuck you.

Ангел шарахается, мне все-таки приходится встать, она протискивается к иллюминатору, мать смотрит на меня, как на серийного убийцу, они всегда одеты, как обычные люди.

– You, bastard...

– Fuck you.

Я валюсь, исчезаю, проваливаюсь. Темно.

Лужайка за домом Магды и Лео Виппенгеймов, Бостон, МА

Я грыз ногти до шестнадцати лет. Если бы я начал грызть их в подобающе раннем возрасте, меня отучили бы – мазали бы, скажем, горчицей, или показывали бы, как Дёмин папа Дёминой кузине, фотографию Венеры Милосской – смотри, мол, до чего дойдет. Но я начал грызть ногти лет в четырнадцать или пятнадцать, и как-то никому уже не было до этого дела, но мне самому, к счастью, опротивел вид собственных изуродованных пальцев, и я взял себя в руки. От чего я не смог себя отучить – так это выкусывать заусенцы, и у меня всегда есть одна или две заживающих ранки около самых лунок. Сейчас выяснилось, что ранок этих, на самом деле, не одна или две, а добрых десять тысяч, и все они очень неприятно горели, да и мокрые пальцы сильно мерзли на ветру. В какой-то момент я даже пожалел о собственной затее. Я пошевелил лопатками, вздохнул и поерзал на раскладном стульчике – потихоньку начинала затекать спина. Оставалось еще примерно полкастриюли.

– Can I give you a hand?

Я отрицательно покачал головой и улыбнулся – Магда вышла покурить, у нее был идеальный, нежно-розовый маникюр, я ценил ее вежливость, но совесть не позволяла заставить ее копать в шашлыках. Я поддел еще одно луковое колечко, потом еще кусок говядины, потом надвинул на шампур четвертинку помидора, добавил шампиньон и положил шашлык на поднос, с которого Лео и Мартин периодически забирали очередную порцию шампуров и уносили к грилю. Всего нас было человек двенадцать – вместе с двумя детьми Виппенгеймов и семейством Хамфри из дома слева (сами мы были соседями из дома справа). Было довольно холодно, несмотря на солнце и стайку

дружелюбных теплолюбивых Cumulus, вяло жующих каминную трубу – наверное, последнее барбекю в этом году, мы, мужчины, возимся на лужайке с грилем, женщины и дети сидят в тепле, на втором этаже визжат Лиза и пятилетний Карл, мне удастся разобрать что-то про Элмо, – видимо, они решают, кто его будет щекотать. В морозилке лежат отошедшие на задний план замороженные сосиски, стейки и гамбургеры из Trader Joe's, их никто не тревожит, потому что дрессированный русский медведь Марк показывает удивительный номер – настоящие шашлыки.

Сегодня Марк все утро ходил по кухне на задних лапах, а передними резал лук до рыданий, упихивал мясо в кастрюлю, пританцовывал, поводя умной мордой, сыпал перец, чеснок, укроп и петрушку и урчал, выливая во все это хозяйство обезжиренный йогурт. Йогурт был уже чистым лихачеством – как и присутствующий в оригинальном рецепте кефир, которого в супермаркетах было никаким образом не достать, а до русского магазина запасавший провиант Сэнди Хамфри доехать не успел. В отсутствие кефира лучше всего, конечно, было бы залить это хозяйство уксусом и не выеживаться. Но стоять шашлыкам было всего часов пять, уксус пах бы уксусом, мясо не пропиталось бы, а йогурт, по меньшей мере, производил сильное впечатление, это я понимал, и поэтому с горьким вздохом мсье Вателя, которому предложили фаршировать рябчика пельменями, согласился на йогурт. Тем более что подлинный вкус шашлыков могла здесь помнить только Машка, которая подошла ко мне на кухне, сделала страшные глаза и трагическим шепотом спросила: «Йогурт???» На что я таким трагическим шепотом ответил: «Настайасчий грузинский йогурт!», она прыснула и с тех пор мы заговорщически переглядывались, как только кто-нибудь выражал восхищение моими удивительными кулинарными способностями, и от этих переглядываний что-то радостно и изумленно дрожало у меня внутри. Как именно йогурт сказался на мясе и пропиталось ли оно хоть сколько-нибудь, я пока не знал, – первая порция еще потрескивала на огне и томительно пахла в десяти метрах от меня, – но йогурт пропитался перцем и солью будь здоров, и мои размокшие пальцы с содранными заусенцами ощутимо страдали.

– Mark, could you come here for a sec? – живот Лео колыхался едва ли не отдельно от него, мне казалось, что он, как воздушный шар, реагирует на порывы ветра, в то время как сам Лео вполне твердо стоял на ногах, и лицо его с жесткими чертами было даже тонким, и руки были – или казались – почти тонкими, с длинными пальцами, и поэтому на огромный живот было как-то совсем уж неприятно смотреть, по крайней мере мне. Лео стоял за грилем и покручивал рукоятки шампуров, напоминая игрока в настольный хоккей, Мартин старательно помахивал над мясом картонкой, зажатой в большой рыжей лапе, а от меня, главного специалиста по шашлыкам, видимо, требовалось оценить меру их готовности. Я подошел, с умным видом потыкал в мясо предложенной мне пластиковой вилкой, счел его вполне готовым, но, набивая цену своему сакральному знанию, сказал:

– Just a minute or two, – и вернулся к своей кастрюле.

Первую порцию ели под ахи и восторги, я скромно кивал большой головой с круглыми ушами и маленькими глазками. Маленькая Грета (сама она называла себя «Гетти») уронила кусок шашлыка себе на джинсы, сложилась пополам и быстро облизала сначала одну коленку, а потом вторую, прежде, чем Магда успела ей это запретить. Лиза чинно попросила добавки, и Маша посмотрела на меня так, что я вдруг залился краской, как мальчик. Разлили вино, я посетовал, что нет к шашлыкам (в йогурте, да-да) положенной чачи (надо полагать, с шоколадным вкусом), Дона пожелала произнести тост – и высказалась в том смысле, что как же хорошо, вот у нас чилийское вино, американские овощи, японский соус, китайская скатерть, грузинский шашлык (я опустил глаза), да и

сами мы собрались в разное время с разных концов земли, – я с ужасом подумал, что сейчас она предложит выпить за Америку, и тут она закончила: «Так выпьем же за братьев Райт, сделавших все это возможным!» Все расхохотались, я выпил вина, как водки, Гетти обошла стол и спрашивала меня, что написано на моей футболке, на которой было написано «Пойдем-ка покурим-ка!» Я перевожу, «О! – говорит Магда, -о!» – и мы с ней выходим на заднее крыльцо. Еще не пожаренные шашлыки накрыты пленкой, угли греются под синей крышкой с надписью «Техас», у Магды несколько тонких морщин бегут от уголков глаз к вискам, я вижу, что она принадлежит к тому типу нежно-розовых блондинок, которые к сорока годам становятся похожими на печеное яблочко с детскими голубыми глазами.

– Is this your first time in America? – спрашивает она. Она странно курит – очень сильно затягивается, так, что фильтр скрывается во рту целиком, а сигарета сминается и потом разглаживается опять.

– Yep, – говорю я. – Thank you for inviting me over today.

– Our pleasure, – говорит Магда, – Otherwise we would never try a real Georgian shashlik, – и по ее улыбке я понимаю, что мой трюк разгадан по крайней мере одним человеком. Я улыбаюсь и говорю:

– But they were good, right?

– Great, – она смеется. Потом смотрит мне в глаза, не отрываясь, несколько секунд, и с улыбкой, но уже другого рода, говорит мне:

– What a pity you don't live around here. Leo and me would really like your company.

На секунду я решаю, что мне показалось – но нет, мне не показалось, она имеет в виду ровно то, что я подумал, и я, наконец, замечаю то, что упустил в силу своей занятости другими вещами: у нее довольно глубокое декольте, хороший грудной голос, не только прекрасный маникюр, но и вообще очень красивые руки и густые, хоть и жестковатые, волосы. У нее фигура спортсменки, она наверняка бегает по утрам или ходит в gym, я вдруг представляю себе ее раздетой – не до конца, а, скажем, до трусов и спортивного топа, она стягивает носок, сидя на постели, Лео лежит на боку, смотрит на нее, рядом лежит его живот, и я ясно ощущаю некое свободное место в этой картине, место, которое мог бы занять третий. Я мигаю. Магда отводит глаза, – не как смутившийся человек, а как человек, выразивший все, что хотел выразить, я говорю:

– Thank you.

– Take it for a compliment, – говорит она, мы поняли друг друга и идем обратно в дом, и с этого момента живот Лео как-то перестает меня раздражать.

Наверху что-то происходит, я слышу лай, чей-то взвизг, потом смех, потом Машин голос, – там в одной из комнат сейчас обитает Дина – сука лабрадора, месяца назад принесшая семь щенков, двоих забрали друзья, троих Виппенгеймы заранее продали через какой-то собачий сайт, а еще двое пока живут в доме, сейчас все наверху и смотрят их. Лео предлагает мне пойти с ним и выложить на гриль оставшиеся шашлыки и некоторое количество гамбургеров. Раздается топот ног по лестнице, на меня налетает Лиза с криками:

– I wanna have a dog! I wanna have a dog! Mark, Mark, please come upstairs and tell dad we can take a puppy!

I'm not a kid, I'm responsible, и поэтому я присаживаюсь перед ней и говорю:

– I can't tell your dad what to do, dear, but why don't try to talk to him yourself?

Она не то чтобы топает ножкой, а попрыгивает на месте обеими ногами сразу, производя довольно-таки много шума, и при этом взмахивает руками – в целом похоже на пытающегося взлететь цыпленок.

– No, no, – кричит Лиза, – dad says we can't have a dog, because we already have you! Tell him you're leaving and we can get a puppy!

Я медленно поднимаюсь, на месте желудка у меня сосущая черная дыра. Я встречаюсь взглядом с Доной Хемфри, она быстро отворачивается и делает вид, что ничего не слышала, я беру Лизу за руку, и мы выходим в коридор.

– Лиза, – говорю я по-русски, – что папа сказал?

– He said we can't have a dog since we already have Mark, and mom said you're leaving soon, – говорит присмирившая Лиза уже потише, явно понимая, что сболтнула что-то не то.

Я смотрю на висящую в коридоре на стене тарелочку с видом Дрездена и замечаю возле одного из зданий маленькую черную кошку.

– Детка, – говорю я Лизе, – я пойду домой, а ты скажи маме, что у меня очень болит голова, хорошо?

Маша прибегает, когда я уже лежу у себя в комнате, закрыв жалюзи. Черная дыра у меня внутри расплзлась, она захватила низ грудной клетки и низ живота, ее заливают тяжелая вязкая жидкость, и сам я чувствую себя таким тяжелым, совершенно неподъемным, неспособным пошевелиться, я спеленут холодом, как младенец в ледяной люльке – hush-a-bye, baby, on the tree top. Я лежу с закрытыми глазами, но все равно вижу, как надо мной ходит мелкой рябью темная листва, и в ее шорохе, в ее меняющихся очертаниях начинает складываться общая картина, – картина, о которой я ни разу не задумался, потому думал только о своей любви, сладко тянущей меня за жилы, забивающей глаза разноцветным песком, держащей меня за горло белой ладонью – так, чтобы от нехватки кислорода колотилось сердце и наступала головокружительная эйфория, вспыхивающая сильнее каждый раз, когда эта женщина смотрит на меня, смеется, ищет в связке нужный ключ, поднимает с пола дочкину заколку с бегемотиком. When the wind blows, the cradle will rock.

Я чувствую, как люлька качается подо мной, листву начинает рвать ветром, я заставляю себя не быть малодушным и не открывать глаза, а с закрытыми глазами читать уродливые узоры веток и листьев – эта женщина не любит меня. Я со дня на день жду момента, когда мы, наконец, сядем и решим, как нам жить дальше, – но решать нам нечего. Я люблю ее, она восхищена этим, ей это так необходимо, она безумно благодарна мне, и эта благодарность близка к влюбленности, и этот флирт, наверное, – лучшее, что произошло с ней за последние, по крайней мере, пять лет ее однообразного брака, но нам нечего решать, более того – у нас нет «мы», нет «нас», – есть я, заезжий гость, перекасти-поле, любящий замужнюю хозяйку дома. И это не «мы», а я должен решать, как мне жить дальше, – нет, не решать, нечего решать, а вот что: я должен учиться жить дальше, с этим, с тем, что есть. When the bough breaks, the cradle will fall. «Мы», которого не оказалось, все это время отгораживало меня от остального мира, оно виделось мне шаром, сделанным из волшебного материала – сквозь него мы (я) видел всех и все, но никто не видел нас (меня, меня, меня одного), не видел происходившего между нами (со мной), – так представлялось мне, а оказалось, что я сидел в стеклянном шарике и танцевал там, подскакивал, прыгал, как дурачок, под одному лишь мне слышную мелодию, а все смотрели на меня, и всем наверняка было неловко, но что скажешь дурачку?..

Лежа в раскачивающейся люльке под ураганным вихрем, я вспоминал свои взгляды и намеки, ужимки и прыжки, – но не чувствовал никакого стыда, а только горе, ветер свистел в ушах, я слышал, как трещит сук, и вцеплялся тяжелыми руками в свою прозрачную колыбель, и понимал, что падаю, и понимал, что мне плевать на всех, кто смотрит на меня с земли, плевать на Мартина с его тщательно скрываемым раздражением, на поспешно отвернувшуюся Дону, на старика-заправщика, сказавшего мне: «Don't be soft with your woman, she'll eat you raw», – когда я принес Маше мармеладного Гарфильда на палочке, ее любимого героя из Лизкиных мультиков. Все, что мне остается – это одна неделя: смотреть на эту женщину, передавать ей стакан, рисовать чертиков ее дочке,

заводить в гараж ее велосипед, ощущать ее присутствие в доме, – и ничего, кроме этой недели, не имело значения, ничего, и никто не мог меня выгнать

Down will come baby, and cradle, and all.

– Whatever you're thinking right now – just stop, – говорит Маша, пытается дотянуться до меня, но я отклоняюсь, – пожалуйста, перестань, а?

Но я нет, я не могу перестать. В дверь стучат, я забыл свой мобильник у Виппенгеймов, он звонил, Лизу отправили отнести его мне. Номер не определился, а значит, звонок был международный, когда такое происходит, я на всякий случай перезваниваю родителям. Мне нужно пять, ну, десять минут, чтобы подняться с кровати – Лиза говорит, что ей холодно, Маша идет дать ей свитер, пять, ну, десять минут, ну, от силы десять, а потом открываю глаза, набираю родителей и опять закрываю глаза. Мама отвечает сразу, мне кажется, что плохая связь, но тут я понимаю, что у нее от слез прерывается голос, а она говорит:

– Сыночка, ты только не пугайся, ты только не пугайся, Маричек ...

7 февраля 1987 года

Свитер, который я никогда не видел, какие-то туфли, которых я никогда не видел, что-то белое, при виде чего Маша вспыхивает, и тут таможенник спрашивает: «Это что?» «Это мое», – говорит Маша, и таможенник начинает листать толстую зеленую тетрадку, на которой шариковой ручкой по линейке аккуратно выведено «ДНЕВНИК», Маша смотрит в пол, таможенник пролистывает несколько страниц, не меняясь в лице и не выражая никакого интереса к увиденному, потом кладет тетрадку на стойку и говорит:

– Документы на рукопись есть?

– Но это же не рукопись! – говорит Машина мама, – это девочкин дневник, он не представляет собой никакой ценности!

– Рукописи без документов вы вывозить не можете, – спокойно говорит таможенник, и я все время жду, что он злорадно ухмыльнется, но он не снисходит до мимики. Маша растерянно смотрит на мать, мать – на отца, отец, похудевший за последний месяц вдвое – на таможенника. Таможенник продолжает ворошить содержимое Машиного чемодана, для него история с тетрадью окончена, тетрадь лежит на стойке надписью вниз, я никогда не подумал бы, что Маша вела дневник, я потрясен этим фактом больше, чем всем, что я вижу сейчас, впервые в жизни провожая человека в другую страну и впервые в жизни расставаясь действительно навсегда.

Виноват был университет штата Невада, пустыня, где ничего не росло, кроме грибов в полнеба, а в университете как раз и учили на микологов, и кому-то из микологов понадобились сложные математические модели, по которым специализировался Машин папа, ученый и функционер, и функционер, кажется, в меньшей степени, чем ученый, – что редко бывало в те времена, функционер быстро съедал ученого, а косточки его раскладывал на каком-нибудь красивом графике, позволявшем функционеру и дальше считаться человеком науки. Машин же папа умудрялся публиковать по небольшой монографии раз в три-четыре года, и какая-то лемма даже была названа его именем – и еще одним именем, того докторанта, который действительно ее вывел, как позже объясняли мне, добавляя: «И какой же честный человек был Королев – вообще же мог только свое имя поставить, так всегда все делали,» – эти представления о академической номенклатурной честности коробят меня по сей день. Но так или иначе, имя Машиного

папы все-таки значило кое-что, и даже на международной сцене, потому что микологи в момент надобности решили пригласить к себе советского ученого S.L. Korolyov на год! – и медленно завертели колеса бюрократической машины, какое-то колесико неожиданно затрепетало на своей оси, дернулось вправо и влево, вопросительно изогнулось к ученому S.L.Korolyov и потерло одним зубчиком о другой в характерном международном жесте – и тут ответная шестеренка завертелась у ученого S.L.Korolyov в голове, пополз передаточный вал, и начали щелкать цифры – занять, продать кооператив, кое-что отложено на сберкнижке, за одну ночь ученый S.L.Korolyov сильно постарел, потерял брюшко и обрел лихорадочный блеск в глазах, шестеренка ловко ухватила купюры, поволокла их вдоль всего скрипучего механизма, оставляя то здесь бумажечку, то там две, – дальше к делу присовокупляется элемент неведомой мне магии, присущей не слишком людоедским по сравнению с предыдущим периодом перестроечным временам, – и, наконец, из окошка выдачи документов в омерзительном, лающем, воняющем унижением ОВИРЕ была ученому S.L.Korolyov брошена бумажка, на которой к обычному разрешению на выезд было приписано: «с семьей». До выезда был дан месяц. Сергей Львович Королев, как уже упоминалось, за этот месяц похудел вдвое. У Машиной мамы появились морщины на еще молодой шее. Уезжавшие с семьей не возвращались. Вслух это не произносилось ни разу – за весь месяц, ни разу, вообще.

Маша ходила в школу до последнего дня, все все знали, ничего не говорили, наоборот, делали вид, что не понимают, учителя часто повторяли: «когда Королева вернется в наш класс», «теперь, когда у Королевой появился шанс как следует заняться английским», «Королева, не забывай, что тебе в этой школе еще аттестат получать, поэтому будь любезна на уроке слушать учителя, а не записочками кидаться», – и Королева делала вид, что да, получать, и переставала кидаться записочками, а только обменивалась с Виталиком долгими взглядами, очень долгими, и после звонка бросалась что-то ему договаривать, чего не дописала. Она казалась мне лихорадочно возбужденной и в то же время совершенно застывшей, как если бы лихорадочно возбужденного человека показывали мне в замедленной съемке, – мы отделились, несмотря на всю нашу дружбу, и существовал только Виталик, Виталик, Виталик, а сейчас Виталик стоял рядом со мной и смотрел, как таможенник кладет на стойку Машкин дневник, а я понимал, что для него существование этого дневника – не новость, да и содержание его он, скорее всего, если и не знает, то может легко себе вообразить. За спиной у меня рыдали девочки – Инна Розенблат, Галя Ирбис, кто-то еще, кажется, Маша дружила с Лелей Барятиной – вдруг сдружилась, ровно в этот месяц, в последний. Десять минут назад мы все, то есть дюжина одноклассников, Машкина двоюродная сестра и еще какие-то сверстники, дети друзей ее родителей, человека три или четыре – стояли поразительно ровным кругом, метров, наверное, пять в диаметре, и просто молчали, – а потом девочки начали рыдать, и сзади Инка привалилась к моему плечу и всхлипывала, а я вспоминал «Денискины рассказы» – как он там смотрит в потолок, «чтобы слезы затекли обратно».

Тем временем поверх дневника легла картинка с видом Феодосии, две каких-то книги и, по непонятной причине, плотный импортный банный халат, одна из тех многочисленных вещей, которые почему-то тащили с собой, несмотря на страшные ограничения веса, не представляя себе, что понадобится, а что не понадобится на новом месте, – девять лет спустя Кирилл рассказывал мне, что по большому счету достаточно было иметь при себе две пары джинсов и пару футболок, остальным тебя снабжали немедленно, – но тащили пледы, каких-то чугунных чертиков, которых вроде бы можно было продать там за большие деньги (вывозить можно было сто двадцать долларов на человека, и это без кредитных карточек, счетов, чего бы то ни было – сто двадцать долларов и все). К горке прибавились какие-то вещи из трех других чемоданов, потом начали пересчитывать деньги, и Машин папа, спохватившись, выгреб из карманов несколько советских монет,

аккуратно положив их сверху, кажется, пледа или халата. «Что же нам с этим делать?» – спросила Машина мама, и таможенник сказал: «Разрешаю отдать провожающим». Машин отец сгреб все это барахло, сделал два шага к турникету и через турникет сунул в руки своей старшей сестре, книги упали со стуком, следом шлепнулся, раззявив страницы, дневник, зазвенели, посыпавшись, монеты, и тут Машка, поднырнув под отцовскую руку, схватила тетрадь – и когда она выпрямилась, Виталик уже стоял рядом – и она сунула дневник ему в руки, и тут они начали целоваться через турникет, по-настоящему, по взрослому целоваться, боясь оторваться друг от друга, и Машина мама смотрела на это все по крайней мере полминуты, а потом осторожно погладила дочку по спине, отец заново упикивал чемодан, таможенник досматривал мамину сумочку. Я подобрал две монеты – гривенник и алтын.

На автобусной остановке я смотрел, как Виталик курит вот этими самыми губами. Я уже все понял про них с Машкой, и мне казалось, что только так и могло быть, я даже не думал: «Во дают ребята!», или «Молодцы!», или «Ну ни фига себе!», а думал, что хорошо, что они успели, нашли время и место и вообще хорошо, и опять стоял, как Дениска, запрокинув голову, не видя неба за мокрой пеленой, и опять не заплакал. Мы были взрослыми в те сорок минут, пока замерзали в ожидании автобуса до Речного вокзала, настолько взрослыми, что Виталик вдруг сказал: «Мне сейчас кажется, что я ночью умру», а я окостеневшей рукой достал из кармана сигареты и предложил ему, и мне часто кажется, что никогда больше я не был таким взрослым, как тогда, - никогда, по сей день. На следующее утро в школе мы едва кивнем друг другу и до самого выпускного уже никогда не заговорим толком, хотя почти дружили же целый год, - я думаю, мы просто боялись заговорить, чтобы не потерять те сорок минут, когда мы были по-настоящему взрослыми, такими, как никогда потом.

Родителей не было, я прошел в к себе в комнату в сапогах и стоял, не зажигая света, у окна. В холле щелкнул замок, за стенкой раздались голоса, засмеялись – вечер субботы, наверняка портвейн и, скажем, конфеты «Белочка», - а я стоял и смотрел на башни Юго-Запада, торчащие из замерзшего болота пятиэтажек, когда сквозь стенку добралось до меня L'Italiano Vero.

Sono un italiano.

Buongiorno Italia con tuoi artisti
Con troppa America sui manifesti,
Con le canzoni, con amore,
Con il cuore.

Boungiorno Italia,
Boungiorno Maria
Con gli occhi pieni di malinconia
Boungiorno Dio
Lo sai che ci sono anch'io

Я, конечно, не разбираю слов, sono l'russo, но это время итальянцев, – Тото Кутуньо, «Рики и Повери», Альбано и Ромина Пауэр, Пупо, – и я, хоть и не понимаю ничего, все равно знаю все слова наизусть, как мой папа знает про all the nickles and the dimes of his days, – но ему переводил я, плохо ли, хорошо ли, – а мне никто не мог ничего перевести, и я просто шевелю губами, повторяя слова, и даже не знаю, как она ложится на мой темный вечер в пустой комнате, эта песенка. Потому что я изнываю, чувствуя, что con troppa America для меня, и con troppa amore тоже. И не представляю себе, когда в следующий раз

смогу сказать: «Boungiorno Maria», и ее gli occhi pieni di malinconia не идут у меня из головы, и присутствует еще что-то, что-то гораздо большее, чем Машкин отъезд, что-то, не имеющее отношения к аэропорту, дневнику, сигарете в замерзших пальцах, Виталику, сказавшему мне в автобусе, что он знал мальчика, который сам видел Саманту Смит – как будто хотел найти у себя какого-нибудь американского знакомого, пусть и знакомого знакомых, чтобы не было чувства, что его первая женщина улетела на пустой и страшный материк, но вдруг вспомнил, что и эта единственная его американская почти знакомая погибла, не долетела, - и осекся, как будто захлебнулся воздухом, сделал вид, что закашлялся. Если бы ее самолет падал где-нибудь над Москвой, то была бы секунда, когда она, возможно, увидела бы эту застывшую диаграмму безумного архитектурного эквалайзера – плато пятиэтажек, пики высоток, провалы дворов, я нащупал в кармане куртки гривенник и алтын, достал их, разогрел в кулаке, приложил алтын к затянутому морозным узором углу окна – образовался глазок, и я наклонился и заглянул в него, как если бы надеялся увидеть там совсем другую картинку.

В глазке была все та же московская ночь, улица, фонарь, аптека, и я вдруг почувствовал, что меня тянет наклоняться все ниже и ниже, как если бы к шее был привязан камень, я никогда и никуда не денусь отсюда, тот, кто рождается здесь, как правило, умирает здесь, и вся моя жизнь, скорее всего, пройдет за этим окном, никогда ничего не переменится, ничего, никогда, – я стоял, склонившись, и пики высоток начали вдруг размазываться и раскачиваться, а плато пятиэтажек пошло крупной рябью, и я заморгал, но слезы полились быстрее, потому что я понял, что мне не оставлено выбора – что именно любить, и поэтому я всю жизнь буду любить вот это, вот эту ледяную ночь, серую от снега улицу, мигающий лиловым фонарь, аптеку, в которой мама покупала грудной сбор, а папа, как я узнал спустя много лет – презервативы, отложенные в сторону ровно на три ночи, первые три ночи моей жизни. И сейчас я склонялся перед этим холодным, серым, колким пространством, мне предстояло научиться любить его – и я уже учился, сейчас, в эту минуту, сжимая в руке две монетки, ощупывая их внимательными пальцами, отпуская, сжимая снова.

Lo sai che ci sono anch'io.

Велозаводская улица, Москва, Россия

– ...Лена, вот сюда, это для российских граждан очередь. Молодой человек, можно мы вот так сумочку поставим? Вот спасибо. Господи, какая очередь ужасная, если в Домодедово прилетать, так там весь этот паспортный контроль чик-чик и готово, ну, минут двадцать, а здесь стоишь-стоишь, стоишь-стоишь... Телефон работает у тебя? Набери давай его еще раз Сашу, а потом Летицких еще раз набери..

– Он говорит, что сеть перегружена.

– Я с ума сойду.

– Мама, ну перестань, ну с чего им там быть?

– Лена, ну мало ли с чего. Ну может просто так пошли, ну мало ли чего люди могут туда пойти, выходной день, ну что ты мне идиотские вопросы задаешь, а? Нам еще долго стоять? Ну что же это вообще такое, совершенно очередь не двигается, ну в такой день могли иметь уважение к людям, вон три кабинки пустые стоят, ну посадили бы туда кого-нибудь... Может, ты ему SMS пошлешь?

– Я пыталась, не проходит. Ну понятно же...

– Господи, скорее бы добраться до автомата, ну что ж это за ужас такой, почему тут нет ни одного телефона-автомата? Молодой человек, вы не знаете, тут есть какой-нибудь телефон-автомат или уже за паспортным контролем? Молодой человек? Тьфу черт, он пьяный, что ли, совсем, Лена, отойди, стань сюда ко мне. Может, надо кого-нибудь из

пограничников спросить, какие новости, мы же четыре часа летели, ничего не знаем, что ж они нас мучают. Лена, а ну подойди вон, пограничники стоят.

– Мама, ну успокойся, сейчас мы пройдем контроль, позвоним, вон уже начали проходить.

– Двигай сумку за мной, давай, паспорт приготовь и как пройдем, сразу беги к автомату, там сейчас небось такая очередь будет стоять, что мы еще час не пробьемся. Набери Сашу еще раз.

– Мама, ради бога, успокойся, все в порядке, я уверена, ну перестань.

– Ты уверена, ты уверена, ты набирай давай...

*

– Абонент не отвечает или временно недоступен, попробуйте позвонить позднее.

*

– ...Это уже наш багаж ползет?

– Еще нет.

– Ты еб твою мать. Я как вспомню, так руки трясутся, ты понимаешь. Сестра мне звонит и говорит: ты понимаешь, мы почти пошли, а потом Женька говорит: слушай, Даш, такие деньги, может, ну его на хуй, лучше давай в цирк детей сводим, какого хрена им это, так они пошли в цирк. Ну ты понимаешь, вот буквально в тот день собирались и не пошли. А еще говорит: Ирина – это есть у нее такая подружка, такая баба, знаешь, с яйцами, еще со школы они дружат, так та вышла что-то два года назад за такого мужика кавказского, знаешь, с бабками, так к ней приехала мать с сестрой, и она их решила куда-нибудь сводить, а там деньги не проблема, это ж не Дашка моя, и они пошли гулять, дошли до самой кассы и выяснили, что Ирка забыла кошелек дома, так хотели возвращаться, а потом плюнули и вечером пошли на что-то другое. Пиздец что такое. А только ты знаешь, Миша, я тебе, пока нас никто не слышит, скажу. Я бы этим черножопым яйца поотрывал и в пасть засунул, но я тебе говорю: если народ до такого довести, он пойдет на все. Если все время на твою землю лезут, стреляют, если твоим детям жить не дают, так человека можно до такого довести, что он с автоматом на кого хочешь бросится, ты понимаешь? Я тебе скажу: шли бы они на хуй со своим Кавказом, отдать им этот ебанный Кавказ, пусть там делают, что хотят, они там друг друга перережут, это ж звери, они ж все равно по-человечески жить не могут, и пускай перережут, но это как говно, Миша: ты его не трогаешь, оно не воняет. Да ебанный в рот, мы получим сегодня наши ебанные чемоданы или они охуели вообще?..

*

– Абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее.

*

– ...Туда не могу, там перекрыто все, до Велозаводской могу, а вообще вам туда надо или просто где-то рядом? А то так туда не проедешь, я могу вас, например, до Крестьянской заставы довести, а там метро. Или вам прямо туда? Ну садитесь, поехали. Я сам никуда не хотел сегодня ехать, жена мне говорит: да ладно тебе, работа есть работа, нельзя, чтобы жизнь останавливалась, Леша, этим сукам только и надо, чтобы мы все бросили и сидели, дрожали. Вставай и иди работай, люди прилетают, им надо домой, надо по делам, нечего нам прогибаться. Щас будут новости через пять минут, послушаем. Я вообще думал, что, может, сегодня и самолеты летать не будут, но нет, летают. А мне говорит тут парень один, со мной работает, что правильно, что надо летать, надо работать, чтобы это говно не

думало, что он оно может нас за яйца держать. Но зато теперь все, кто орал что надо прекращать войну, прекращать войну, – у меня сосед, хороший парень, все хорошо, мы вместе отмечали день рождения жены моей, они к нам пришли, так он говорит мне: Серега, это наших мальчиков туда посылают, ты понимаешь? У тебя сыну сколько лет? Двенадцать! А будет восемнадцать – ты этого для него захочешь, да? Так вот чтоб они теперь все знали, что с этим говном ну невозможно иначе, ну невозможно! Только силу они понимают, они же смертники, им пока прикладом в голову не вобьешь – они ничего не понимают, ну ни хрена! Щас новости будут, я включу новости, подожди...

*

– Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

*

– ...пока нет подтверждения этой информации со стороны представителей власти и из других источников. Ранее сообщалось, что террористы освободили мальчика, у которого начался приступ астмы. Таким образом, количество освобожденных, возможно, достигло сорока четырех. В заложниках остаются, по разным данным, от шестисот до тысячи человек. Вместе с тем в здании остаются около сорока детей. Люди находятся в крайне тяжелом психологическом состоянии...

*

– ...Служба абонентской поддержки. Все операторы заняты. Ваш звонок поставлен в очередь. Мы сможем ответить вам через двадцать четыре минуты...

*

– ...Я Вас тут высажу, а то я не выеду потом, ближе не могу. Дай вам бог, чтобы все было хорошо. Всего доброго. До свидания...

*

– Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее.

*

– ...Молодой человек, вы не знаете, где будут принимать одежду? Тут сказали, что им можно будет передать одежду, вы не знаете, где будут собирать?..

– ...Позовите кого-нибудь со «скорых», у меня жене сделалось плохо, мы там около обменника сидим, пожалуйста, приведите врача, к обменнику туда...

– ... Друзья, отец Александр собирает молебен в сквере через пятнадцать минут, подходите, пожалуйста...

– ...Я чувствую, что он умер, Валя, понимаешь, я чувствую, что его больше нет. Я чувствую – и все...

– ...Пока правительство! Будет ставить свои алчные интересы! Выше интересов простых людей! Будет гибнуть простой народ! Будут гибнуть наши дети! Сейчас в мире нет ничего

важнее! Чем освободить заложников! Ничего ценнее! Чем жизни тысячи человек, находящихся под дулами автоматов! Мы требуем! Пойти на любые соглашения! Не медля ни секунды!..

– ...заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой и уповаю на него, яко той избавит тя от сети ловчей и от словесе мятежна и, плещма своими осенит тя и под криле его надеешься... От стрелы летящая во дни, от страха во тьме приходяща, от сряща и беса полуденного...

– ...Света, Света, вот тут говорят, что они согласились разговаривать с Хакамадой, что через час придет Хакамада и они будут говорить, чтобы выпустить сто человек. Это та женщина сказала, которая журналист, ну, которая подходила. Ой, господи, ну, может, правда, ну господи, ну что же такое...

– ...Это я все виновата, Денис, это я его отпустила, я не должна была его отпускать, он и чувствовал себя с утра плохо, горло болело, я ему сказала: не ходи, но когда все идут, он разве может не пойти? Мне надо было его запереть, я не знаю, что, ну что же делать нам, ну что же нам делать?..

– ...Слышишь, Коля, тут кому-то пришел SMS оттуда, что им там дали соку...

– ..Ну Вы представьте себе – девять лет он не приезжал сюда, девять лет, и вот позавчера они прилетели с женой, Вы можете себе такое представить?

– ...подтверждение пока не поступало. Заложница сообщила, что террористы пока не высказывают желания вступить в переговоры с кем-либо еще из представителей официальных властей. По ее информации в зале находятся шестьдесят семь представителей иностранных государств, в частности: США – четыре человека, Канада – четыре человека, Швейцария – два человека, Австрия – три человека, Югославия – два человека, Германия – семь человек, Франция – три человека, Дания – два человека, Болгария – один человек.

*

Я увидел ее сбоку, они сидели на большой сумке – она и моя мама, спиной к спине, и я шел к ним, но на самом деле шел к ней, не чувствуя собственных ног, не чуя под собой ничего, и по мере того, как я приближался, она постепенно поворачивалась ко мне лицом и медленно поднималась, и когда я увидел ее лицо, я ее не узнал: были только обведенные красной каймой глаза и кривящийся, медленно открывающийся рот, я не видел ее месяц, перед отъездом я обедал у них дома, рассказывал сыну про поездку, обещал привезти подарок, Виктор просил меня узнать, стоит ли заказать оттуда Палм или лучше купить здесь. На ней тогда был растянутый серый домашний свитер и смешные джинсы с заплатками на коленях, она сидела в кухне на полу, курила и щекотала Андрюшу за пятку, сейчас она сидела на большой сумке и поднималась мне навстречу, длинные рукава свитера высовываются из рукавов пальто, заплатки на коленях, я не понимал, иду я или пространство само перемещается кусками, неся меня в толпе, в какой-то момент мне показалось, что я вообще стою на месте, а Маша летит на меня, и тут она ударила меня кулаками в грудь, со всего размаху, и меня с такой силой качнуло назад, что я едва устоял на ногах.

– Это ты виноват! Это ты виноват! Ты! Ты! Ты должен был заставить меня увезти его отсюда! Ты должен был заставить меня его увезти! Он мог жить в нормальной стране, но

ты, ты, тебе было плевать, ты никого не любил, истукан, ты никогда никого не любишь, ты никогда его не любил, ты только хотел, чтобы я была у тебя под боком, как собака, я всю жизнь у тебя под боком, – и посмотри, что ты наделал! Как ты мог не дать мне вернуться туда, забрать его отсюда! Как ты мог! Тебе плевать было, что твой сын тут живет, в этом... в этом... тебе было плевать, лишь бы тебя ничего не заботило, ты был счастлив, что Виктор стал ему... Что Виктор... – я пытался схватить ее за руки или хотя бы увернуться от ее ударов, у меня носом шла кровь, она с мукой задохнулась и просто коротко взвыла сквозь зубы, прижав кулаки к груди, моя мама повисла у нее на руке, отец сзади держал ее за плечи, Маша вдруг замолчала и как будто перестала видеть меня, вообще перестала видеть, села на сумку, я обнял маму, и мы просто стояли там, в толпе, и на нас опускались сумерки.

*

Над Фрунзенской набережной медленно сгущались сумерки. Деревья на той стороне стояли голые, уже зажглись какие-то огоньки на аттракционах в ЦПКиО, шёл дождь. Я стоял, механически дёргая сломанную молнию на куртке, потом опёрся на мокрый парашют. Курить не хотелось. Ничего не хотелось. Так было только после развода. Мама тогда говорила: “Маричек, ты потеряешь сына”.

Машка права, да, под боком, здесь, в Москве, где полгода мокрый снег и ещё два месяца дождь, и бензина в воздухе столько, что на Кольце иногда перехватывает дыхание. Где была наша школа – её в позапрошлом году снесли, чтобы построить дорогой кондоминиум. Где тридцать девятый ходит теперь только до Ленинского проспекта. И я тоже здесь – в этом городе, в этой стране, – чтобы ездить к ним по выходным, привозить Андрюшке подарки из командировок, думать каждый день о том, что здесь нельзя жить, ни единого дня – но это всё, что у меня есть, всё, что у меня когда-либо было. Единственное здесь посреди бесконечных там и нигде.

Я выпрямился, поставил перед собой на парашют сумку. Хассель, журнал, плёнки, вспышка в футляре, пара книг и да, вот он, Magnum, не представляю, какого калибра. Я запустил руку в карман и выудил оттуда монетку. Подбросил её, разжал ладонь, посмотрел на человека с косичкой, – приставил дуло к виску и спустил курок – три раза подряд, для верности. Щёлк-щёлк, щёлк, – *кто малиновку убил?* Опустил пистолет, посмотрел на шерифскую звёздочку на рукояти и, размахнувшись, забросил его в Москва-реку. *Я – ответил воробей.*

Пистолет закачался на серой воде и медленно-медленно поплыл к Университету. В стороне, у Крымского моста, низко, протяжно загудела баржа.